

Андрей
Вознесенский

Андрей
Вознесенский

Страдивари
со страданья

БЛ

Домашняя
Библиотека
Поэзии



Александр Вознесенский

Андрей Вознесенский

Страдивари
сострадания



Москва
« ЭКСМО-ПРЕСС »
1999

УДК 882-1
ББК 84(2Рос-Рус)6-4
В 64

Составитель *В. Краснопольский*

Оформление художника *Е. Ененко*

Серия основана в 1997 г.

Вознесенский А. А.

В 64 Страдивари сострадания: Стихи и проза. —
М.: ЗАО Изд-во ЭКСМО-Пресс, 1999. — 416 с.

ISBN 5-04-002882-2

Поэт Андрей Вознесенский — это наше время, запечатленное в поэзии. К настоящему всегда обращена его поэзия — напряженная, образная, построенная на созвучиях непримиримых контрастов.

Лирик и модернист, романтик и скептик, альтруист и сатирик — таков поэт XX века — и, конечно, XXI — Андрей Андреевич Вознесенский.

УДК 882-1
ББК 84(2Рос-Рус)6-4

© Составление, оформление.

ЗАО «Издательство «ЭКСМО-Пресс», 1999 г.

ISBN 5-04-002882-2

© А. Вознесенский, суперобложка, 1999 г.

ДЕРЕВЬЯ БЕЗ НОМЕРКОВ

Как сложилась эта книга?

Летом мне позвонили из издательства: «Знаете, все ваши поэтические сборники раскупила публика. Нет ни одного. Ни в одном магазине. Ни в одном городе. Давайте подумаем об «Избранном».

Это повод.

Одновременно во мне зрела внутренняя потребность книги, составленной не хронологически, а музыкально, как читаются стихи на вечерах, где новые стихи перемежаются с бывальыми. Чем случайней — тем вернее.

В последнем месяце пришлось много выступить — и в Перми, и в Зале им. Чайковского, и в Йошкар-Оле, и в Воронеже, и в Париже. Сложился круг стихов, которые просят слушатели.

Несколько месяцев, как водится, я тянул — руки, вернее, душа все не доходила.

Стихи в нашей памяти живут, своевольничают, поступают по-своему, группируются сами. В этой книге я не оставляю под стихами дат и места их записи. Да и какой год оставить? написания? зарождения чувства? или предчувствия стиха? или когда вспомнилось? Я не слышал, чтобы вслед за стихом шептали дату его написания.

Стихи, особенно русские, живут и остаются в нашей памяти — или наоборот — мы остаемся в них.

Кратковременные владельцы наивно и самонадеянно прибавают на сосны и липы жестяные инвентарные номерки.

Стихи — это деревья без номерков.

«Который час?» — спросили у Батюшкова. Он, как известно, отвечивал: «Вечность».

Последний вечер состоялся в петербургском зале «Ок-

тябрьский». Отношения с залами складываются особые, как и между людьми. Впервые выступал я в «Октябрьском» еще когда город звался Ленинградом. Чтение шло более трех часов. Всплывают лица сидящих в зале Гены Шмакова и Люды Штерн, петербургских гурманов, близких приятелей Бродского. В те дни они посещали почти все мои вечера, даже в Ригу на стадионы летали... После выступления мне рассказали, что толпа смела милицию и прорвалась, разбив стеклянные двери.

Так вот, когда я в ту ночь вышел со служебного входа, меня ожидала мрачно молчащая замерзшая толпа. Стоял февраль. У некоторых чернела запекшаяся кровь на лицах и руках. Люди порезались во время прорыва. До сих пор в сердце боль за них.

Этой осенью зал заполнили в основном сегодняшние студенты и тинейджеры. Может быть, дети тех, что ждали у входа.

В тот вечер зал был особо тревожен. Накануне ночью застрелили Галину Старовойтову. Я поднял зал. Двадцать первый век стоял, храня скорбное молчание. Все цветы с вечера я отвез к дому Галины Васильевны. Врезалась рекламная надпись над входной аркой: «Игровые автоматы»...

Банально радостное утверждение, что новое поколение не колышет поэзия. На вечере в четырехтысячном «Октябрьском» их было процентов 90, они присылали мне записки, была и такая: «Я раньше не читал стихов. Пришел на имя, а теперь...» Дальше шли комплименты, повторять не буду, но человек как бы проснулся.

У зала «Октябрьский» тревожная аура. Позднее отец Богдан, протоиерей Никольского собора, поведал мне страшную историю этого излучения: под фундаментом зала находятся священные мощи, оставшиеся после разрушенного в 60-е годы храма.

Вернувшись в Москву, я собрал это «Избранное». Все стихи, что я читал в «Октябрьском», входят в книгу.

Мы жили жизнью Богом данной
Но из всей музыки Его
Есть Страдивари состраданья
И больше нету ничего.

Это причина.

Недавно Фазиль Искандер подошел ко мне с идеей — собрать свод моих метафор, генофонд поэзии. Пока я не готов к этому. Мне кажется, что озарение должно происходить среди ежедневного быта, обычных слов, как евангелиевское чудо посещало среди обыкновенных ослов и смаковниц. Может быть, мне что-то открылось в поэзии — звуковые метафоры, сбив строки, видеомы и т.д. Может быть. Сам я благодарю Бога за то, что меня посетили «кругометы». Думаю, что они открылись бы Хлебникову, доживи он до наших дней.

Питер питерпитерпитерпитерпи — терпи...

Есть и заячий след, означающий, что выход книги датирован годом Зайца.

Как заяц, мчимся мы перед фарами,
но не чужие за нами гонятся.
Мы погибаем от самоварварства,
от самоварварства спаси нас, Господи!

Вот это так, но, может быть, самое существенное, что это дневниковые стихи человека, который все это время жил среди наших людей. Они станут свидетельством ушедшего века, которого больше не будет. Вспоминаются слова Михаила Кузмина, на заре столетия, предпосланные к сборнику молодой тогда Анны Ахматовой: «Поэты же особенно должны иметь острую память любви и широко открытые глаза на весь милый, радостный и горестный мир, чтобы насмотреться на него и пить его каждую минуту последний раз».

На закате века это звучит еще точнее и пронзительней.

Весь ужас жизни и надежды
на утешительный ответ
я Богу сбрасываю на пейджер.
Ответа нет.

Андрей Вознесенский

* * *

*Стихи не пишутся — случаются,
как чувства или же закат.
Душа — слепая соучастница.
Не написал — случилось так.*

1973

◆

А ты меня
помнишь?

◆



РОМАНС

Запомни этот миг. И молодой шиповник.
И на Твоем плече прививку от него.
Я — вечный Твой поэт и вечный Твой любовник.
И — больше ничего.

Запомни этот мир, пока Ты можешь помнить,
а через тыщу лет и более того
Ты вскрикнешь, и в Тебе царапнется шиповник...
И — больше ничего.

1975



САГА

Ты меня на рассвете разбудишь,
проводить необутая выйдешь.
Ты меня никогда не забудешь.
Ты меня никогда не увидишь.

Заслонивши тебя от простуды,
я подумаю: «Боже всевышний!
Я тебя никогда не забуду.
Я тебя никогда не увижу».

Эту воду в мурашках запруды,
это Адмиралтейство и Биржу
я уже никогда не забуду
и уже никогда не увижу.

Не мигают, слезятся от ветра
безнадежные карие вишни.
Возвращаться — плохая примета.
Я тебя никогда не увижу.

Даже если на землю вернемся
мы вторично, согласно Гафизу,
мы, конечно, с тобой разминемся.
Я тебя никогда не увижу.

И окажется так минимальным
наше непониманье с тобою
перед будущим непониманьем
двух живых с пустотой неживою.

И качнется бессмысленной высью
пара фраз, залетевших отсюда:
«Я тебя никогда не забуду.
Я тебя никогда не увижу».

1977



* * *

Не придумано истинней мига,
чем раскрытые наугад —
недочитанные, как книга, —
разметавшись, любовники спят.

1972



ОСЕНЬ В СИГУЛДЕ

Свисаю с вагонной площадки,
прощайте,

прощай мое лето,
пора мне,
на даче стучат топорами,
мой дом забивают дощатый,
прощайте,

леса мои сбросили кроны,
пусты они и грустны,
как ящик с аккордеона,
а музыку — унесли,

мы — люди,
мы тоже порожни,
уходим мы,
так уже положено,
из стен,
матерей
и из женщин,
и этот порядок извечен,

прощай, моя мама,
у окон
ты станешь прозрачно, как кокон,
наверно, умаялась за день,
присядем,

друзья и враги, бывайте,
гуд бай,
из меня сейчас
со свистом вы выбегаете,
и я уйду из вас,

о родина, прощаемся,
буду звезда, ветла,
не плачу, не попрошайка,
спасибо, жизнь, что была,

на стрельбищах
в 10 баллов
я пробовал выбить 100,
спасибо, что ошибался,
но трижды спасибо, что

в прозрачные мои лопатки
вошла гениальность, как
в резиновую перчатку
красный мужской кулак,

«Андрей Вознесенский» — будет,
побывать бы не словом, не бульдиком,
еще на щеке твоей душной —
«Андрюшкой»,

спасибо, что в рощах осенних
ты встретила, что-то спросила
и пса волокла за ошейник,
а он упирался,
спасибо,

я ожил, спасибо за осень,
что ты мне меня объяснила,

хозяйка будила нас в восемь,
а в праздники сипло басила
пластинка блатного пошиба,
спасибо,

но вот ты уходишь, уходишь,
как поезд отходит, уходишь...
из пор моих полых уходишь,
мы врозь друг из друга уходим,
чем нам этот дом неуютен?

Ты рядом и где-то далеко,
почти что у Владивостока,

я знаю, что мы повторимся
в друзьях и подругах, в травинках,
нас этот заменит и тот —
«природа боится пустот»,

спасибо за сдутые кроны,
на смену придут миллионы,
за ваши законы — спасибо,

но женщина мчится по склонам,
как огненный лист за вагоном...

Спасите!

1961



СОН

Мы снова встретились. И нас
везла машина грузовая.
Влюблялись мы — в который раз.
Но ты меня не узнавала.

Меня ты привела домой.
Любила и любовь давала.
Мы годы прожили с тобой.
Но ты меня не узнавала!

1972



ПИЕТА

Сколько было тьмы непониманья,
чтоб ладонь прибитая Христа
протянула нам для умыванья
пригорошни, полные стыда?

И опять на непроглядных водах
стоком оскверненного пруда
лилия хватается за воздух —
как ладонь прибитая Христа.

1977



СКУЛЬПТОР СВЕЧЕЙ

Скульптор свечей, я тебя больше года
вылепливал.

Ты — моя лучшая в мире свеча.

Спички потряхивая, бренча.

Как ты пылаешь великолепно
волей создателя и палача!

Было ль, чтоб мать поджигала ребенка?

Грех работенка, а не барыш.

Разве сжигал своих детищ Коненков?

Как ты горишь!

На два часа в тебе красного воска.

Где-то у коек чужих и афиш

стройно вздохнут твои краткие сестры,
как ты горишь.

Как я лепил свое чудо и чадо!

Весны кадили. Капало с крыш.

Кружится разум. Это от чада.

Это от счастья, как ты горишь!

Круглые свечи. Красные сферы.

Белый фитиль незажженных светил.

Темное время — вечная вера.

Краткое тело — черный фитиль.

«Благодарю тебя и прощаю
за кратковременность бытия,
пламя, пронзающее без пощады
по позвоночнику фитиля.

Благодарю, что на миг озаримо
мною лицо твое и жильё,
если ты верно назвал свое имя,
значит, сгораю во имя Твое».

Скульптор свечей, я тебя позабуду,
скутер найму, умотаю отсюда,
свеч наштампую голый столбняк.
Кашляет ворон ручной от простуды.
Жизнь убывает, наверное, так,
как сообщающиеся сосуды,
вровень свече убывает в бутылке коньяк.

И у свечи, нелюбимой покуда,
темный нагар на реснице набряк.

1977



ЖЕНЩИНА И СТЕНА

Держите шатенку!

Она разбегалась и билась об стену —
лицом, животом бесполезно красивого тела.
Лоб всмятку и платье клочками, как пена —
об стену!

«Видать, она в стельку?»

«Давай я тебя уложу, успокою, раздену» —
об стену!

За пошлость измены!

За страшную цену

красивую быть, да еще современной,
за тело, что мучает ночью, а тут еще денно, —
за съехавший с рамой портрет Рубинштейна,
об все деловые постели, об все «невозможно»,
об «тесно» —
об стену!

(И после удара с минуту, наверно,
две нижние доли дрожали, как после Шопена.)

— Прости эту стену,
что нас разделила с тобой постепенно.

— Прости мне, любимый, что я не убила тебя,
чтоб избавить от плена —
об стену!

Прости эту сцену.

Стена победила. Мы тени системы,
об стену!..

Будь благословенна
та сила паденья, что сбивши колени,
бросает на стену!

Ты вдруг вылетаешь таранящим креном —
сквозь стену —
оставив дыру с очертаньями тела.

Сквозь тело летят облака и ночные сирены.

Будь благословенна.



НОСТАЛЬГИЯ ПО НАСТОЯЩЕМУ

Я не знаю, как остальные,
но я чувствую жесточайшую
не по прошлому ностальгию —
ностальгию по настоящему.

Будто послушник хочет к Господу,
ну а доступ лишь к настоятелю —
так и я умоляю доступа
без посредников к настоящему.

Будто сделал я что-то чуждое,
или даже не я — другие.
Упаду на поляну — чувствую
по живой земле ностальгию.

Нас с тобой никто не расколлет,
но когда тебя обнимаю —
обнимаю с такой тоскою,
будто кто тебя отнимает.

Одиночества не искупит
в сад распахнутая столярка.
Я тоскую не по искусству,
задыхаюсь по настоящему.

Все из пластика — даже рубища,
надоело жить очерково.
Нас с тобою не будет в будущем,
а церковка...

И когда мне хохочет в рожу
идиотствующая мафия,
говорю: «Идиоты — в прошлом.
В настоящем — рост понимания».

Хлещет черная вода из крана,
хлещет ржавая, настоявшаяся,
хлещет красная вода из крана,
я дождусь — пойдет настоящая.

Что прошло, то прошло. К лучшему.
Но прикусываю как тайну
ностальгию по настоящему,
что настанет. Да не застану.

1975



СНАЧАЛА!

Достигли ли почестей постных,
рука ли гашетку нажала —
в любое мгновенье не поздно,
начните сначала!

«Двенадцать» часы ваши пробили,
но новые есть обороты.
Ваш поезд расшибся. Попробуйте
летать самолетом!

Вы к морю выходите запросто,
спине вашей зябко и плоско,
как будто отхвачено заступом
и брошено к берегу прошлое.

Не те вы учили алфавиты,
не те вас кимвалы манили,
иными их быть не заставите —
ищите иные!

Так Пушкин порвал бы, услышав,
что не ядовиты анчары,
великое четверостишие
и начал сначала!

Начните с бесславья, с безденежья.
Злорадствует пусть и ревнует
былая твоя и нездешняя —
начните иную.

А прежняя будет товарищем.
Не ссорьтесь. Она вам родная.
Безумие с ней расставаться,
однако

вы прошлой любви не гоните,
вы с ней поступите гуманно —
как лошадь, ее пристрелите.
Не выжить. Не надо обмана.



* * *

Не возвращайтесь к былым возлюбленным,
былых возлюбленных на свете нет.
Есть дубликаты, как домик убранный,
где они жили немного лет.

Вас лаем встретит собачка белая,
и расположенные на холме
две рощи — правая, а позже левая —
повторят лай про себя, во мгле.

Два эха в рощах живут отдельные,
как будто в стереоколонках двух,
все, что ты сделала и что я сделаю,
они разносят по свету вслух.

А в доме эхо уронит чашку,
ложное эхо предложит чай,
ложное эхо оставит на ночь,
когда ей надо бы закричать:

«Не возвращайся ко мне, возлюбленный.
Мы были раньше. Нас больше нет».
Две изумительные изюминки
хоть и расправятся тебе в ответ.

А завтра вечером, на поезд следуя,
вы в речку выбросите ключи,

и роща правая, и роща левая
вам вашим голосом прокричит:
«Не покидайте своих возлюбленных.
Былых возлюбленных на свете нет...»

Но вы не выслушаете совет.

1974



МОНАХИНЯ МОРЯ

Я вижу тебя в полдень
меж яблоков печеных,
а утром пробегу —
монахиною моря в мохнатом капюшоне
стоишь на берегу.

Ты страстно, как молитвы,
читаешь километры.
Твой треугольный кроль
бескрайнюю разлуку молотит, как котлеты,
но не смиряет кровь.

Напрасно удлиняешь голодные дистанции.
Желание растет.
Как море ни имеешь — его все недостаточно.
О, спорт! ты — черт...

Когда швыряет буря ящики
с шампанским
серебряноголовые — как кулачок под дых,
голая монахиня бесшабашная,
бросаешься под них!

Бледнея под загаром,
ты выйдешь из каскадов.

Потом кому-то скажешь, вернувшись в города:

«Кого любила?.. Море...»

И все ему расскажешь.

За время поцелуя

отрастает борода.

1980



ВОДЯНЫЕ

Р. Щедрину

Мы — животные!
Твое имя людское сотру.
Лыжи водные
распрямяют нас на ветру.

Чтоб свобода нас распрямила
на лету —
словно рвешь лошадиную силу
на Аничковом мосту.

Одиночество —
вся надежда на позвоночники.
Не сорваться бы.
Мы — животные цивилизации.

А змеиному телу подруги,
приподнявшейся на руке,
мы, наверное, кажемся плугом,
накренившимся вдалеке.

Берег. Женщина-невеличка.
Счастье — вот оно!
И в боксерских перчатках спички —
мы — животные.

Тренированные на водных,
на земных,
мы осваиваемся свободно
на воздушных и на иных.

Голова на усах фекальных
выплывает из глубины.
Что же держит нас вертикально?
Тяга женщины и страны,

где, каким-то чудом сохранны,
запрокинутые назад,
ухватясь за свои телеграммы,
покосившись, столбы летят.

И когда душа моя по небу
взмлет вовремя —
что ей в это мгновенье вспомнится?
Лыжи вольные!



ВДОЛЬ МОРЯ

На закате бегу между пляжем и морем,
что барашками кажется мухомором,
мимо пляжей, которые кажутся жизнью,
мимо жизни, которая кажется пляжем,
мимо моря, которое кажется смертью,
мимо смерти, которая кажется жизнью,

пляж, который казался десяткой червов,
загорев, оказался пиковой масти,
мимо горя, которое кажется счастьем,
мимо счастья, которого, кажется, нету,
мимо розы, которая кажется чайной,
только пахнет вином, унесенным из чайной,
мимо тайны, которая кажется дурой,
мимо дуры, которая кажется тайной,
мимо тайны, которая кажется тенью,
мимо тени, оказывающейся светом,

пробегаю по кругу, что кажется волей,
меж ворами, которые, кажется, в «Вольво»,
меж собакой и волком, что кажется другом,
между дружбой, которая кажется цепью,
мимо церкви, которая кажется Богом,
мимо Бога, оказывающегося церковью,

мимо молний, которые кажутся чайкой,
мимо чайки, что вскоре окажется МХАТом,
мимо молний с копьем, как святой Егорий,
мимо моря, тебя растворившего моря,

полюбила, а кажется, посмеялась,
время — секс, что кажется безопасным,
пронеслась — а кажется, что навеки,
навсегда — а кажется, что напрасно.



КУПАНИЕ В РОСЕ

На лугу меж двух озер
вне обзора от шоссе,
как катается ковер,
мы купаемся в росе.

Ледяные одуванчики,
исхлеставши плечи все,
ароматом обдавайте!
Мы купаемся в росе.

Все грехи поискнули,
окрещенные в красе,
не в людских слезах — в купавиных,
брось врачей! Купнись в росе!
Принимай росные ванны!
Никакого ОРЗ.

Как шурупчик высоты,
дует шершень от шоссе —
где тут ты? и где цветы?
он ворчит: «Ля вам шерше...»

Милые, нас не скосили!
Равны ежику, осе,
мы купаемся в России,
мы купаемся в росе.

Полосатый, словно зебра —
ну и сервис! — след любви.
Ты в росе, в росе, в росевросевросевро — серва
ландыша не раздави!..

Как приятно на веранде
пить холодное «rosé»...
Вы купайтесь в бриллиантах!
Мы купаемся в росе.



ЗАМЕРЛИ

Заведи мне ладони за плечи,
обойми,
только губы дыхнут об мои,
только море за спинами плещет.

Наши спины — как лунные раковины,
что замкнулись за нами сейчас.
Мы заслушаемся, прислонясь.
Мы — как формула жизни двоякая.

На ветру мировых клоунад
заслоняем своими плечами
возникающее меж нами —
как ладонями пламя хранят.

Если правда душа в каждой клеточке,
свои форточки отвори.

В моих порах
стрижами заплещутся
души пойманные твои!

А пока нажимай, заваруха,
на скорлупы упругие спин!
Это нас прижимает друг к другу.

Спим.

1965

БАЛЛАДА-ЯБЛОНЯ

В. Катаеву

Говорила биолог,
молодая и зяблая, —
это летчик Володя
целовал меня в яблонях.
И, прервав поцелуй, просветлев из зрачков,
он на яблоню выплеснул
свою чистую
кровь!

*Яблоня ахнула,
это был первый стон яблони,
по ней пробежала дрожь
негодования и восторга,
была пора завязей,
когда чудо зарождения,
высвобождаясь из тычинок,
пестиков,
ресниц,
разминается в воздухе.
Дальше ничего не помню.*

Ах, зачем ты, любимый, меня пожалел?
Телу яблонеvu от тебя тяжелеть.
Как ревную я к стонущему стволу.

Ночью нож занесу, но бессильно стою —
на меня, точно фары из гаража,
мчатся
яблоневого глаза!

Их 19.

*Они по три в ряд на стволе,
как ленточные окна.
Они раздвигают кожу, как дупла.
Другие восемь узко растут из листьев.
В них ненависть, боль, недоуменье —
что? что?
что свершается под корой?
кожу жжет тебе известь? кружит тебя кровь?
Дегтем, дегтем тебя мазать бы, а не известью,
дурочка древесная. Сунулась. Стояла бы себе как
соседки в белых передниках. Ишь...*

Так сидит старшеклассница меж подружек,
бледна,
чем полна большеглазо — не расскажет она.
Похудевшая тайна. Что же произошло?
Пахнут ночи миндально. Невозможно светло.
Или тигр-людоед так тоскует, багров.
Нас зовет к невозможнейшему любовь!
А бывает, проснешься — в тебе звездопад,
тополиные мысли и листья шумят.

*По генетике у меня четверка была.
Люди — это память наследственности.
В нас, как муравьи в банке,
напиханно шевелятся тысячелетия,
у меня в пятке щекочет Людовик XIV.*

Но это?..

*Чтобы память нервов мешалась с хлорофиллами?
Или это биочудо? Где живут дево-деревья?*

Как женщины пахнут яблоком!..

*...А 30-го стало ей неважно.
Ночью сбросила кожу, открыв наготу,
врыта в почву по пояс, смертельно орет
и зовет
удаляющийся
самолет.*

1965



* * *

Можно и не быть поэтом,
но нельзя терпеть, пойми,
как кричит полоска света,
прищемленная дверьми!

1976



Вознесенский в своих открытиях давно обогнал великие 20-е годы русского футуризма. Он открыл стих-вихрь. Его кругометы, закрученные в спирали галактик, превратились в галактические молитвы конца XX века: «Питер-ПитерпиТЕРпи...» Он открыл строку, закрученную, как лента Мебиуса. Зримая и слышимая бесконечность, змея, кусающая свой хвост.

НА деревьях висит ТАЙ
Боже отпусти на Не
Ты не оправдала МЕЧ

Стих перестал походить на марширующую колонну или нарезанную буханку. Стих-рояль, стих-сердце, стих-вихрь, стих-рулетка, стих-глаз.

К. Кедров

ПОВЕСТЬ

Он вышел в сад. Смеркался час.
Усадьба в сумраке белела,
смущая душу, словно часть
незагорелая у тела.

А за самим особняком
пристройка помнилась неясно.
Он двери отворил пинком.
Нашарил ключ и засмеялся.

За дверью матовой светло.
Тогда здесь спальня находилась.
Она отставила шитье
и ничему не удивилась.

1972



ПЕРЕДЕЛКИНСКИЙ КЛЮЧ

По гнущимся ступеням
к источнику, что снизу,
кто вывел автогеном
«Надежда» и «Лариса»?
Ах, женские ступени
и имя на плаву,
как в поминальном пенье
и в храме на полу.
Железа отсвет паюсный,
вечерний прогибается
под мною и тобой.
Ты туфли не из риска
снимаешь с каблуком —
чтоб ощутить Ларису,
ощупав босиком.
Плащ подвернув до «мини»,
нагнешься в темноте
и пальцем свое имя
напишешь на воде.
И озаренный инеем,
с твоей ладони пью
разбавленную именем
прощальную струю.

ОБУЧЕНИЕ ВИНОПИТИЮ

Напой меня вином —
темно-красною свободой,
напой меня собою,
в рот набрав «Сент-Эмильон».

Напой меня виной
холодяще, эротично.
Все другое — еретично.
Нови, нови нет в ином!

Все фужеры я давно
перебил тебе на счастье.
Обучу тебя причастью
пить взаимное вино.

Научу пить из горла
вкус малины и канцоны —
антирадиационно
Геба ты, а не герла.

«С Новым годом!» повторим.
Неужели, неужели
твои женские фужеры
не новее всех новин?!

Жизнь — короткие вакейшены.
Нам завещано одно —
пить из губ любимой женщины
монастырское вино!

Рукавами кимоно
утро сужено в окно.
Нови, нови нету, но
есть вино, вино, вино.

Только зеркало с торца
отражает невозможно
неразъятою восьмеркой
два дурацкие лица.

Новый год — какой наив!
Век какой? Не все ль равно...
Нет новин, новин, новин,
есть вино, вино, вино...



АВТОМАТ

Москвою кто-то бродит,
накрутит номер мой.
Послушает и бросит —
отбой...

Чего вам? Рифм кило?
Автографа в альбом?
Алло!..
Отбой...

Кого-то повело
в естественный отбор!
Алло!..
Отбой...

А может, ангел в кабеле,
пришедший за душой?
Мы некоммуникабельны.
Отбой...

А может, это совесть,
Потерянная мной?
И позабыла голос?
Отбой...

Стоишь в метро конечной
с открытой головой,
и в диске, как в колечке,
замерзнул пальчик твой.

А за окошком мелочью
стучит толпа отчаянная,
как очередь в примерочную
колечек обручальных.

Ты дунешь в трубку дальнюю,
и мой воротничок
от твоего дыхания
забьется, как флажок!..

Порвалась связь планеты.
Аукать устаю.
Вопросы без ответов.
Ответы в пустоту.

Свело. Свело. Свело.
С тобой. С тобой. С тобой.
Алло. Алло. Алло.
Отбой. Отбой. Отбой.

1971



БАЛЛАДА О МО

Словно гоголевский шнобель,
над страной летает Мобель.

Говорит пророк с оглобель:
«Это Мобель, Мобель, Мобель...
Черным дьяволом зачаты
одноухие зайчаты.
Я читал в одной из книг —
Мобель дик».

— А Мадонна из Зарядья
тройню черных родила.
«Дистанционное зачатье» —
утверждает. Ну, дела!
Ну Мобель, погоди...

Покупаю модный блейзер.
Восемь кнопочек на нем.
Нажму кнопку — кто-то трезвый
говорит во мне: *«Прием.
Абонент не отвечает или временно недоступен
звону злата. И мысли, и дела он знает
наперед...»*
Кто мой Мобель наберет?

Секс летит на нас отдельно,
Жизни смысл отстал от денег.
Мы — отвязанные люди,
без иллюзий.

Мебель лауреаты
проникают Банку в код.
С толстым слоем шоколада
Марс краснеет и плывет.

Ты теперь дама с собачкой —
ляжет на спину с тоски,
чтоб потрогала ты пальчиком
в животе ее соски.

*Если разговариваешь более получаса, —
рискуешь получить удар самонаводящейся
ракетой.*

- *Опасайтесь связи сотовой.*
- *Особенно двухсотой.*
- *Налей без содовой.*

Даже в ванной — связи, связи,
запредельный разговор,
словно гул в китайской вазе,
что важнее, чем фарфор.

Гений Мебели создал.
Мебель гения сожрал.
Он мозгов привносит рак.
Кто без мозгов — тот не дурак.

«МО», — сказал Екклезиаст.
Но звенят мои штаны:
«Капитализм — это несоветская власть
плюс мобелизация всей страны».

Черный мебель, черный мебель
над моею головой,
нового сознания модуль,
черный мебель, я не твой!

— Не сдадим Москву французу!
— В наших грязях вязнет «Опель».
Как повязочка Кутузова,
в небесах летает мебель
МОБЕЛЬМОБЕЛЬМОБЕЛЬМОБЕЛЬМО...

Слепы мы.
Слепо время само.

Был бы у Татьяны мебель,
то Онегину бы, кобелю,
не писала бы письмо.



ПЛАТИТЕ ЖЕНЩИНЕ

Женщине надо платить —
жизнью, а лучше наличными.
Как утверждают античные
Плóтин и Плотин.

Все оставляет блондин
золото на подушке,
гений забился в падучей —
женщине надо платить.

Деньги суммируют секс.
В женщину, словно в копилку,
суть свою юноша пылкий
вкладывает, и Ксеркс.

Женщине надо плодить
тайны и войны всамделишные,
грезы налогоплательщиков
в куртках на голое тело,
и тех, кто платить супротив.

Женщиной надо балдеть.
Пусть обвинят в пораженщине.
Платите женщине!
(Шкурой, когда вы медведь.)

Чем я тебе заплачу
за твое чудо бесценное,
за поцелуи, за сцену
перед поездкой к врачу?

Как мы играли с тобой!
За щеку сунув динару...
И из тебя — из Данаи —
сыпался дождь золотой.

Как ты неординарна!

«Я — однорукий бандит!..»
Отхохочись до упаду,
став игровым автоматом.
Надо платить.

За этот аперитив
будешь, родная, расплачиваться
дном, унижениями, прачечными,
за все мужские палачества
женщине надо платить.



ИГРОВАЯ

Вызвала под утро за ворота
рыжая, пустая как камыш.
И твердишь лицом бесповоротным:
«Я сама себе отвратней рвоты.
Неужели ты меня простишь?!

Помнишь, ты крутил: «грядеши камо?»
«Камо-амок» выплыло со дна.
Я давно играю. Это амок.
Неужели ты простишь меня?»

Амок, всенародный и кровавый,
мчится, самых лучших закрутя...
«Игровая вышла, игровая», —
говорят таксисты про тебя.

Молодая пиковая дама,
кто ж маркиз твой? Урка из Мытищ?
Воет амок — вековая яма:
«Неужели ты меня простишь?»

Ночью выпал иней. Вроде хрома.
Но на босу ногу ты была,
как позавчера ушла из дома,
амоком ведомая ушла.

Жалко не прикида, не квартиры,
жаль тебя, а не зеленых тыщ.

За тобой следили рэкетеры.
«Я должна кавказцам, — ты твердила. —
Неужели ты меня простишь?»

«Сколько?» — говорю, играя хама.
Я устал от твоего вранья.
Но ужалил непонятный амок:
«Неужели ты простишь меня?»

Это круче дозы тегеранской,
крутит, состав крови изменя.
Отыгаться надо, отыгаться —
Неужели не простишь меня?

Женщины — все игровые,
ставят свою юность и престиж,
русские наследницы графини.
Неужели ты меня простишь?

Амок шел за мной на Мицубиси.
За балкон шагнула с этажа
пятого. Сочли самоубийством.
Извини, конечно, но жива.

Возвращаясь утром на цистерне,
на пределе хрупкого ума
я пыталась распознать Систему.
Но она безумная сама.

Милая, они же профи!
Но крупье отпаивали зал,
когда твой молниеносный профиль
амок изумрудно озарял.

И страданья свет смущенно таял,
проступая через никотин.
Ведь сияние бывает тайным.
Или же бывает никаким.

Тачка ждет. Пора кончать свиданье.
Боже, излечи ее, спаси!
Смотрит сострадание страданья
в заднее окошечко такси.

Иней на деревьях — битой гжелью.
Но дорога вся темна.
Уезжает ею: «Неужели
ты простил меня?»

Господи! Камо грядеши?!
На душе тяжелый камень лишь.
Как мне жить, твой амок разглядевши?
Неужели ты меня простишь?



ФИАЛКИ*А. Райкину*

Боги имеют хобби,
бык подкатил к Европе.
Пару веков спустя
голубь родил Христа.
Кто же сейчас в утробе?

Молится Фишер Бобби.
Вертинские вяжут (обе).
У Джоконды улыбка портнишки,
чтоб булавки во рту сжимать.
Любитель гвоздик и флоксов
в Майданеке сжег полглобуса.
Нищий любит сберкнижки
коллекционировать!
Миров — как песчинок в Гоби!
Как ни крути умишком,
мы видим лишь божьи хобби,
нам Главного не познать.

Боги желают кесарева,
кесарю нужно богово.
Бунтарь в министерском кресле,
монашка зубрит Набокова.
А вера в руках у бойкого.

А ТЫ МЕНЯ ПОМНИШЬ?

Ты мне прозвонилась сквозь страшную полночь:

«А ты меня помнишь?»

Ну как позабыть тебя, ангел-звереныш?

«А ты меня помнишь?» —

твой голос настаивал, стонуц и тонуц —

А ты меня помнишь? а ты меня помнишь?

И ухало это во тьме телефониц —

рыдало по-русски, in English, in Polish —

you promise? astonish, а ты меня помнишь?

А ты меня помнишь, дорога до Бронниц?

И нос твой, напудренный утренним пончиком?

В ночном самолете отстегнуты помочи —

вы, кресла, нас помните?

Понять, обмануться, окликнуть по имени:

А ты меня...

Помнишь? Как скорая помощь,

в беспмятном веке запомни одно лишь —

«А ты меня помнишь?»



ОХОТА НА ЗАЙЦА

Ю. Казакову

Травят зайца. Несутся суки.
Травля! Травля! Сквозь лай и гам.
И оранжевые кожухи
апельсинами по снегам.

Травим зайца. Опохмелившись,
я, завгар, лейтенант милиции,
лица в валенках, в хrome лица,
зять Букашкина с пацаном —
газанем!

Газик, чудо индустриализации,
наворачивает цепя.
Трали-вали! Мы травим зайца.
Только, может, травим себя?

Юрка, как ты сейчас в Гренландии?
Юрка, в этом что-то неладное,
если в ужасе по снегам
скачет крови
живой стакан!

Страсть к убийству, как страсть к
зачатию,
ослепленная и извечная,
она нынче вопит: зайчатины!
Завтра взвоят о человечине...

Он лежал посреди страны,
он лежал, трепыхаясь слева,
словно серое сердце леса,
тишины.

Он лежал, синеву боков
он вздымал, он дышал пока еще,
как мучительный глаз,
моргающий,
на печальной щеке снегов.

Но внезапно, взметнувшись свечкой,
он возник,
и над лесом, над черной речкой
резанул
человеческий
крик!

Звук был пронзительным и чистым, как
ультразвук
или как крик ребенка.
Я знал, что зайцы тонут. Но чтобы так?!
Это была нота жизни. Так кричат
роженицы.

Так кричат перелески голые,
немые досель кусты,
так нам смерть прорезает голос
неизведанной чистоты.

Той природе, молчально-чудной,
роща, озеро ли, бревно —
им позволено слушать, чувствовать,
только голоса не дано.

Так кричат в последний и в первый.

Это жизнь, удаляясь, пела,

вылетая, как из силка,

в небосклоны и облака.

Это длилось мгновение,

мы окаменели,

как в остановившемся кинокадре.

Сапог бегущего завгара так и не коснулся

земли.

Четыре черные дробинки, не долетев,

вонзились

в воздух. Он взглянул на нас. И — или это

нам

показалось — над горизонтальными

мышцами

бегуна, над запекшимися шерстинками

шеи блеснуло лицо.

Глаза были раскосы и широко расставлены,

как

на фресках Феофана.

Он взглянул изумленно и разгневанно.

Он парил.

Как бы слился с криком.

Он повис...

С искаженным и светлым ликом,

Как у ангелов и певиц.

Длинноногий лесной архангел...

Плыл туман золотой к лесам.

«Охмуряет», — стрелявший схаркнул.

И беззвучно плакал пацан.

Возвращаясь в ночную пору.
Ветер рожу драл, как наждак.
Как багровые светофоры
наши лица неслись во мрак.

1963



БЬЮТ ЖЕНЩИНУ

Бьют женщину. Блестит белок.
В машине темень и жара.
И бьются ноги в потолок,
как белые прожектора!

Бьют женщину. Так бьют рабынь.
Она в заплаканной красе
срывает ручку, как рубильник,
выбрасываясь
на шоссе!

И взвизгивали тормоза.
К ней подбегали, тормоша.
И волочили и лупили
лицом по лугу и крапиве...

Подонки, как он бил подробно,
стиляга, Чайльд-Гарольд, битюг!
Вонзался в дышащие ребра
ботинок узкий, как утюг.

О, упоенье оккупанта,
изыски деревенщины...
У поворота на Купавну
бьют женщину.

Бьют женщину. Веками бьют,
бьют юность, бьет торжественно
набата свадебного гуд,
бьют женщину.

А от жаровен на щеках
горящие затрешины?
Мещанство, быт — да еще как! —
бьют женщину.

Но чист ее высокий свет,
отважный и божественный,
Религий — нет, знамений — нет.
Есть
Женщина!..

... Она как озеро лежала,
стояли очи как вода,
и не ему принадлежала
как просека или звезда,

и звезды по небу стучали,
как дождь о черное стекло,
и, скатываясь,
остужали
ее горячее чело.

1960



ТИШИНЫ!

Тишины хочу, тишины...
Нервы, что ли, обожжены?
Тишины...
чтобы тень от сосны,
щекоча нас, перемещалась,
холодящая словно шалость,
вдоль спины, до мизинца ступни.
Тишины...

Звуки будто отключены.
Чем назвать твои брови с отливом?
Понимание —
молчаливо.
Тишины.

Звук запаздывает за светом.
Слишком часто мы рты разеваем.
Настоящее — наназываемо.
Надо жить ощущением, цветом.

Кожа тоже ведь человек,
с впечатленьями, голосами.
Для нее музыкально касанье,
как для слуха — поет соловей.

Как живется вам там, болтуны,
на низинах московских, аральских?
Горлопаны, не наорались?
Тишины...

Мы в другое погружены.
В ход природ неисповедимый.
И по едкому запаху дыма
мы пойдем, что идут чабаны.

Значит, вечер. Вскипает приварок.
Они курят, как тени тихи.
И из псов, как из зажигалок,
Светят тихие языки.

1964



ОСЕНЬ*С. Щипачеву*

Утиных крыльев переплеск.
И на тропинках заповедных
последних паутинок блеск,
последних спиц велосипедных.

И ты примеру их последуй,
стучись проститься в дом последний.
В том доме женщина живет
и мужа к ужину не ждет.

Она откинет мне щеколду,
к тужурке припадет щекою,
она, смеясь, протянет рот.
И вдруг, погаснув, все поймет —
поймет осенний зов полей,
полет семян, распад семей...

Озябшая и молодая,
она подумает о том,
что яблонька и та — с плодами,
буренушка и та — с телком.

Что бродит жизнь в дубовых дуплах,
в полях, в домах, в лесах продутых,
им — колоситься, токовать.
Ей — голосить и тосковать.

Как эти губы жарко шепчут:
«Зачем мне руки, груди, плечи?
К чему мне жить и печь топить
и на работу выходить?»

Ее я за плечи возьму —
я сам не знаю, что к чему...

А за окошком в юном инее
лежат поля из алюминия.
По ним — черны, по ним — седы,
до железнодорожной линии
протянутся мои следы.

1959



* * *

Сидишь беременная, бледная.
Как ты переменялась, бедная.

Сидишь, одергиваешь платице,
и плачется тебе, и плачется...

За что нас только бабы балуют
и губы, падая, дают,

и выбегают за шлагбаумы,
и от вагонов отстают?

Как ты бежала за вагонами,
глядела в полосы оконные...

Стучат почтовые, курьерские,
хабаровские, люберецкие...

И от Москвы до Ашхабада,
остолбенов до немоты,

стоят как каменные бабы,
луне подставив животы.

И, поворачиваясь к свету,
в ночном быту необжитом —

как понимает их планета
своим огромным животом.

1957

ПЕРВЫЙ ЛЕД

Мерзнет девочка в автомате,
прячет в зябкое пальтецо
все в слезах и губной помаде
перемазанное лицо.

Дышит в худенькие ладошки.
Пальцы — льдышки. В ушах — сережки.

Ей обратно одной, одной
вдоль по улочке ледяной.

Певый лед. Это в первый раз.
Первый лед телефонных фраз.

Мерзлый след на щеках блестит —
первый лед от людских обид.

Поскользнешься. Ведь в первый раз.
Бьет по радио поздний час.

Эх, раз,
еще раз,
еще много, много раз.



* * *

В человеческом организме
девяносто процентов воды,
как, наверное, в Паганини
девяносто процентов любви!

Даже если — как исключение —
вас растаптывает толпа,
в человеческом

назначении
девяносто процентов добра.

Деваносто процентов музыки,
даже если она беда,
так во мне,

несмотря на мусор,
девяносто процентов тебя.

1972



АВТОПОРТРЕТ

Он тощ, точно сучья. Небрит и мордаст.

Под ним третьи сутки

трещит мой матрац.

Чугунная тень по стене нависает.

И губы вполхари, дымясь, полыхают.

«Приветик, — хрипит он, — российской поэзии.

Вам дать пистолетик? А может быть, лезвие?

Вы — гений? Так будьте ж циничнее к хаосу...

А может, покаемся?..

Послюним газетку и через минутку

свернем самокритику, как самокрутку?..»

Зачем он тебя обнимает при мне?

Зачем он мое примеряет кашне?

И щурит прищур от моих папирос...

Чур меня, чур!

SOS! SOS!

1963



НЕ ПИШЕТСЯ

Я — в кризисе. Душа нема.
«Ни дня без строчки», — друг мой дробит.
А у меня —
ни дней, ни строчек.

Поля мои лежат в глуши,
Погашены мои заводы.
И безработица души
зияет страшною зевотой.

И мой критический истец
в статье напишет, что, окрысьсь,
в бескризиснейшей из систем
один переживаю кризис.

Мой друг, мой северный,
мой неподкупный друг,
хорош костюм, да не по росту,
внутри все ясно и вокруг —
но не поется.

Я деградирую в любви.
Дружу с оторвою трактирною.
Не деградируете вы —
я деградирую.

Был крепок стих, как рафинад.
Свистал хоккейным бомбардиром.
Я разучился рифмовать.
Не получается.

Чужая птица издали
простонет перелетным горем.
Умеют хором журавли.
Но лебедь не умеет хором.

О чем, мой серый, на ветру
ты плачешь белому Владимиру?
Я этих нот не подберу.
Я деградирую.

Семь поэтических томов
в стране выходит ежесуточно.
А я друзей и городов
бегу, как бешеная сука,

в похолодавшие леса
и онемевшие рассветы,
где деградирует весна
на тайном переломе к лету...

Но верю я, моя родня —
две тысячи семьсот семнадцать
поэтов нашей федерации —
стихи напишут за меня.

Они не знают деградации.

1967



* * *

Приди! Чтоб снова снег слепил,
чтобы желтела на опушке,
как александровский амбир,
твоя дубленочка с опушкой.

1972



ХУДОЖНИК И МОДЕЛЬ

Ты кричишь, что я твой изувер,
и, от ненависти хорошея,
изгибаешь, как дерзкая зверь,
голубой позвоночник и шею.

Недостойную фразу твою
не стерплю, побледнею от вздору.
Но тебя я боготворю.
И тебе стать другой не позволю.

Эй, послушай! Покуда я жив,
жив покуда,
будет люд тебе в храмах служить,
на тебя молясь, на паскуду.

1973



ЯБЛОКОПАД

Я посетил художника после кончины
вместе с попутной местной чертовкой.
Комнаты были пустынные, как рамы,
что без картины.
Но из одной доносился Чайковский.

Припоминая пустые залы,
с гостьей высокой в афроприческе
шел я, как с черным воздушным шаром.
Из-под дверей приближался Чайковский.

Женщина в кресле сидела за дверью,
40 портретов ее окружали.
Мысль, что предшествовала творенью,
сделала знак, чтобы мы не мешали.

Как напряженна работа натурщицы!
Мольберты трудились над ней на треногах.
Я узнавал в их все новых конструкциях
характер мятущийся и одинокий —

то гвоздь, то три глаза, то штык трофейный,
как он любил ее в это время!
Не находила удовлетворенья
мысль, что предшествовала творенью.

Над батареею отопленья
крутился Чайковский, трактуемый Геной

Рождественским. Шар умолял его в небо
выпустить. В небе гроза набрякла.
Туча пахла, как мешок с яблоками.

Это уже ощущалось всеми:
будто проветривали помещенье —
мысль, что предшествовала творенью,
страсть, что предшествовала творенью,
тоска, предшествующая творенью,
шатала строения и деревья!

Мысль в виде женщины в кресле сидела.
Была улыбка — не было тела.
Мысль о собаке лизала колени.
Мысль о стремянке, волнуя, белела —
в ней перекладина, что отсутствовала,
мыслью о ребре присутствовала.

Съезжалось общество потребления.
Мысль о яблоке катилась с тарелки.
Мысль о тебе стояла на тумбочке.
«Как он любил ее!» — я подумал.
«Да», — ответила из передней
недоуменная тьма творенья.

Вот предыстория их отношений.
Вышла студенткой. Лет было мало.
Гения возраст — в том, что он гений.
Верила, стало быть, понимала.
Как он ревнует ее, отошедши!
Попробуйте душ принять в его ванной —
душ принимает его очертанья.
Роман их длится не для посторонних.

Переворачивался двусторонний
Чайковский. В мелодии были стоны
антоновских яблонь. Как мысль о Создателе,
осень стояла. Дом конопатили.
Шар об известку терся щекою.
Мысль обо мне заводила Чайковского,
по старой памяти, над парниками.
Он ставил его в шестьдесят четвертом.
Гости в это не проникали.

«Все оправдалось, метр полуголый,
что вы сулили мне в стенах шершавых
гневым затмением лысого шара,
локтями черными треугольников».

Море сомнительное манило.
Сохла сомнительная малина.
Только одно не имело сомненья —
мысль о бессмысленности творенья.
Цвела на террасе мысль о терновнике.
Благодарю вас, метр модерновый!

Что же есть я? Оговорка мысли?
Грифель, который тряпкою смыли?
Я не просил, чтоб меня творили!
Но заглушал мою говорильню
смысл совершаемого творенья —
ссылка на Бога была б трафаретной —
Материя. Сад. Чайковский, наверное.

Яблоки падали. Плакали лабухи.
Яблок было — гребни лопатой!
Я на коленях брал эти яблоки
яблокопада, яблокопада.

Я сбросил рубаху. По голым лопаткам
дубасили, как кулаки прохладные.
Я хохотал под яблокопадом.
Не было яблонь — яблоки падали.

Связал рукавами рубаху казнимую.
Набил плодами ее, как корзину.
Была тяжела, шевелилась, пахла.
Я ахнул —
сидела женщина в мужской рубахе.

Тебя я создал из падших яблок,
из праха — великую, беспризорную!
Под правым белком, косящим набок,
прилипла родинка темным зернышком.
Был я соавтором сотворенья.
Из снежных яблок там во дворе мы
бабу слепляем. Так на коленях
любимых лепим. Хозяйке дома
тебя представил я гостьей якобы.
Ты всем гостям раздавала яблоки.
И изъяснялась по-черноземному.

Откуда знать тебе, улыбавшейся,
в рубашке, словно в коротком платьице,
что, забывшись, влюбившись, сбросишь
рубашку
и как шары по земле раскатишься!..

Над автобусной остановкой
туча пахла, как мешок с антоновкой.
Шар улетел. В мире было ветрено.
Прощай, нечаянное творенье!

Вы ночевали ли в даче создателя,
на одиночестве колких дерюжиц?
И проносилось в вашем сознании:
«Благодарю за то, что даруешь»?

Благодарю тебя, автор творенья,
что я случился частью твоею,
моря и суши, сада в Тарусе,
благодарю за то, что даруешь,
что я не прожил мышкой-норушкой,
что не двурушничал с тобой, время,
даже когда ты мне даришь кукиш,
и за удары остервенелые,
даже за то, что дошли до ручки,
даже за то стихотворенье,
даже за то, что завтра задуеть, —
благодарю тебя, что даруешь
краткими яблоками коленей!
За гениальность твоих натурщиц,
за безымянность твоей идеи...
И повторяли уже в сновиденье:
«Боготворю за то, что даруешь».

В мир открывались ворота ночные.
Вы уезжали. Собаки выли.
Не посещайте художника после кончины,
а навещайте, пока вы живы.

1981



РОЩА

Не трожь человека, деревце,
костра в нем не разводи.
И так в нем такое делается —
боже, не приведи!

Не бей человека, птица,
еще не открыт отстрел.
Круги твои —
ниже,
тише.
Неведомое — острей.

Неопытен друг двуногий.
Вы, белка и колонок,
снимите силки с дороги,
чтоб душу не наколол.

Не браконьерствуй, прошлое.
Он в этом не виноват.
Не надо, вольная рощица,
к домам его ревновать.

Такая стоишь тенистая,
с начесами до бровей —
травили его, освистывали,
ты-то хоть не убей!

Отдай ему в воскресенье
все ягоды и грибы,
пожалуй ему спасение,
спасением погуби.

1968



ВАСИЛЬКИ ШАГАЛА

Лик ваш серебряный, как алебарда.
Жесты легки.
В вашей гостинице аляповатой
в банке спрессованы васильки.

Милый, вот что вы действительно любите!
С Витебска ими раним и любим.
Дикорастущие сорные тюбики
с дьявольски
выдавленным
голубым!

Сирый цветок из породы репейников,
но его синий не знает соперников.
Марка Шагала, загадка Шагала —
рупь у Савеловского вокзала!

Это росло у Бориса и Глеба,
в хохоте нэпа и чебурек.
Во поле хлеба — чуточку неба.
Небом единым жив человек.

Их витражей голубые зазубрины —
с чисто готической тягою вверх.
Поле любимо, но небо возлюблено.
Небом единым жив человек.

В небе коровы парят и ундины.
Зонтик раскройте, идя на проспект.
Родины разны, но небо едино.
Небом единым жив человек.

Как занесло васильковое семя
на Елисейские, на поля?
Как заплетали венки Вы на темя
Гранд Опера, Гранд Опера!

В век ширпотреба нет его, неба.
Доля художников хуже калек.
Давать им сребреники нелепо —
небом единым жив человек.

Кто целовал твое поле, Россия,
пока не выступят васильки?
Твои сорняки всемирно красивы,
хоть экспортируй их, сорняки.

С поезда выйдешь — как окликают!
По полю дрожь.
Поле прищпорено васильками,
как ни уходишь — все не уйдешь...

Выйдешь ли вечером — будто захварываешь,
во поле углические зрачки.
Ах, Марк Захарович, Марк Захарович,
все васильки, все васильки...

Не Иегова, не Иисусе,
ах, Марк Захарович, нарисуйте
непобедимо синий завет —
Небом Единым Жив Человек.

МУРАВЕЙ

Он приплыл со мной с того берега,
заблудившись в лодке моей.
Не берут его в муравейники.
С того берега муравей.

Черный он, и яички беленькие,
даже, может быть, побелей...
Только он муравей с того берега,
с того берега муравей.

С того берега он, наверное,
как католикам старовер,
где иголки таскать повелено
остриями не вниз, а вверх.

Я б отвез тебя, черта беглого,
да в толпе не понять — кто чей.
Я и сам не имею пеленга
того берега, муравей.

Того берега, где со спелинкой
земляниковые бока...
Даже я не имею пеленга,
чтобы сдвинулись берега!

Через месяц по щепке, как Беринг,
доплывет он к семье своей,
но ответят ему с того берега:
«С того берега муравей».

1973



Н. У. — РЕСТОРАН

Моей жизни часть эмигрировала.
Здесь живет. Пустила корня.
С интересом сейчас игривым
рассматривает меня.

Ты алмазно сияешь — краешком
глаза, носа — как в нашу рань.
Но сейчас ты — граненый камушек.
Как далась тебе эта грань!

Расшибалась всмятку, в восьмерки.
Пропасть пробовала на боках.
Держишь русский кабаk в Нью-Йорке
на отчаянных каблучках.

В этой темной шикарной яме
я узнаю — тебя потом —
неполоманное твое сиянье,
словно малый алмазный фонд.

Узнаю, что никто не знает,
что таю, от себя храня.
Вышибала, тобою нанят,
усмехается на меня.

Якиманкой бежала шибко,
в мировой провал сорвалась.
И сияешь. И не расшиблась.
Доказала, что ты алмаз.

РУССКО-АМЕРИКАНСКИЙ РОМАНС

И в моей стране, и в твоей стране
до рассвета спят — не спиной к спине.

И одна луна, золота вдвойне,
И в моей стране, и в твоей стране.

И в одной цене — ни за что, за так,
для тебя — восход, для меня — закат.

И предутренний холодок в окне
не в твоей вине, не в моей вине.

И в твоём вранье, и в моём вранье
есть любовь и боль по родной стране.

Идиотов бы поубрать вдвойне —
и в твоей стране, и в моей стране.

1977



ЗВЕЗДА

Аплодировал Париж
в фестивальном дыме.
Тебе дали первый приз —
«Голую богиню».

Подвезут домой друзья
от аэродрома.
Дома нету ни копыя.
Да и нету дома.

Оглядишь свои углы
звездными своими,
стены пусты и голы —
голая богиня.

Предлагал озолотить
проездной бакинец.
Ты ж предпочитаешь жить
голой, но богиней.

Подвернуться может роль
с текстами благими.
Мне плевать, что гол король!
Голая богиня...

А за окнами стоят
талые осины
обнаженно, как талант, —
голая Россия!

И такая же одна
грохает тарелка
возле вечного огня
газовой горелки.

И мерцает из угла
в сигаретном дыме —
ах, актерская судьба!
Голая богиня.

1975



БЕЛОВЕЖСКАЯ БАЛЛАДА

Я беру тебя на поруки
перед силами жизни и зла,
перед алчущим оком разлуки,
что уставилась из угла.

Я беру тебя на поруки
из неволи московской тщеты.
Ты — как роца после порубки,
ты мне крикнула: защити!

Отвернутся друзья и подруги.
Чтобы вспыхнуло все голубым,
беловежскою рюмкой сивухи
головешки в печи угостим.

Затопите печаль в моем доме!
Поет прошлое в кирпичах.
Все гори синим пламенем, кроме —
запалите печаль!

В этих пылких поспешных поленьях,
в слове, вырвавшемся, хрипя,
ощущение преступления,
как сказали бы раньше, — греха.

Воли мне не хватало, воли.
Грех, что мы крепостны на треть.
Столько прошлых дров накололи —
хорошо им в печали гореть!

Это пахнет уже не романом,
так бывает пожар и дождь —
на ночь смывши глаза и румяна,
побледневшая, подойдешь.

А в квартире, забытой тобою,
к прежней жизни твоей подключен,
белым черепом со змеею
будет тщетно шуршать телефон...

В этой егерской баньке бревенчатой,
точно сельские алтари,
мы такую свободой повенчаны —
у тебя есть цыгане в крови.

Я беру тебя на поруки
перед городом и людьми.
Перед ангелом воли и муки
ты меня на поруки возьми.

1975



* * *

Я — двоюродная жена.
У тебя — жена родная!
Я сейчас тебе нужна.
Я тебя не осуждаю.

У тебя и сын, и сад.
Ты, обняв меня за шею,
поглядишь на циферблат —
даже крикнуть не посмею.

Поезжай ради Христа,
где вы снятые в обнимку.
Двоюродная сестра,
застели ему простынку!

Я от жалости забьюсь.
Я куплю билет на поезд.
В фотографию вопьюсь.
И запрячу бритву в пояс.

1971





Антонина Сергеевна Вознесенская, мать поэта



Андрюша Вознесенский, 40-е годы



А.Вознесенский, 60-е годы



Инженер-лейтенант А.Вознесенский. Львов, 1963 г.



«Кому может нравится его поэзия?»
Из прессы 60-х годов



Н.С.Хрущев. Москва, Кремль, 1963 г.



С графом Подвельсом, Мартином Хайдегером. Германия, 1972 г.



Б.Пастернак. На даче в Перedelкино, 1958 год



С А.Райкиным, А.Твардовским и З.Богуславской. Дом литератора,
Москва, 1970 г.



В мастерской Эрнста Неизвестного. Москва, 1963 г.



С Робертом Кеннеди. Нью-Йорк, 1967 г.



Линкольн-центр, Нью-Йорк, 1967 г. Выступает Артур Миллер.



С Любимовым в театре на Таганке



С Жаклин Кеннеди, Нью-Йорк, 1978 г.



Нью-Йорк, 1972 г. Г.Вишневская и Гарри Солсбери с супругой
слушают А.Вознесенского в салоне Т.Яковлевой



С В.Высоцким

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ЗА СТОЛОМ

Уважьте пальцы пирогом,
в солонку курицу макая,
но умоляю об одном —
не трожьте музыку руками!

Нашарьте огурец со дна
и стан справасидящей дамы,
даже под током провода —
но музыку нельзя руками.

Она с душою наравне.
Берите трешницы с рублями,
но даже вымытыми не
хватайте музыку руками.

И прогрессист, и супостат,
мы материалисты с вами,
но музыка — иной субстант,
где не губами, а устами...

Руками ешьте даже суп,
но с музыкой — беда такая!
Чтоб вам не оторвало рук,
не трожьте музыку руками.

1971

БАЛЛАДА-ДИССЕРТАЦИЯ

Вчера мой доктор произнес:
«Талант в вас, может, и возможен,
но ваш паяльник обморожен,
не суйтесь из дому в мороз».

О нос!..

Неотвратимы, как часы,
у нас, у вас, у капуцинов
по всем
законам
медицины
торжественно растут носы!

Они растут среди ночи
у всех сограждан знаменитых,
у сторожей,
у замминистров,
сопя бессонно, как сычи,
они прохладны и косы,
их бьют боксеры,
щемят двери,
но в скважины, подобно дрели,
соседок ввинчены носы!

(Их роль с мистической тревогой
интуитивно чуял Гоголь.)

Мой друг Букашкин пьяны были,
им снился сон:
подобно шпилью,
сбивая люстры и тазы,
пронзая потолки разбуженные,
над ним
рос
нос,
как чеки в булочной,
нанизывая этажи!

«К чему б?» — гадал он поутру.
Сказал я: «К Страшному суду.
К ревизии кредитных дел!»

30-го Букашкин сел.

О, вечный двигатель носов!
Носы длиннее — жизнь короче.
На бледных лицах среди ночи,
как коршун или же насос,
нас всех высасывает нос,

и, говорят, у эскимосов
есть поцелуй посредством носа...

но это нам не привилось.

1963



МАСЛЕНИЦА

Что трезвонит нам доподлинно
колокольная весна?

— Блин! блин!

Полблина! полблина!

четверть блина!

на!

Но Билибину билингвельно
откликается страна:

— Бил Клинтон! Бил Клинтон!

Пол Маккартни!

Обана!..

У Америки индейка.

Масленица нам дана.

Национальная идея

начинается с блина.

Я люблю друзей с иголки

в блинной у Тверских ворот,

где буфетчица икорочку,

чтоб блистала, облизнет.

Блин тончайший, точно кружево.

Проспиртованный при том.

Как прохожий, разутюженный

асфальтовым катком.

Масленица в преисподней.
Трахнул ведьму серафим.
Восхищение сегодня
выражаем словом «блин».

Ты — блин, я, блин,
Явлинский, блин,
я — полблина, ты — четверть блина...

Ну и блинная страна!



ШКОЛЬНИК

Твой кумир тебя взял на премьеру.
И Любимов — Ромео!
И плечо твое онемело
от присутствия слева.

Что-то будет! Когда бы час пробил,
жизнь ты б отдал с восторгом
за омытый сиянием профиль
в темноте над толстовкой.

Вдруг любимовская рапира —
повезло тебе, крестник! —
обломившись, со сцены вцепилась
в ручку вашего кресла.

Стало жутко и весело стало
от такого события!
Ты кусок неразгаданной стали
взял губами, забывшись.

«Как люблю вас, Борис Леонидович! —
думал ты, — повезло мне родиться.
Моя жизнь передачей больничною,
может, вам пригодится...»

Распрямись, мое детство согбенное.
Детство. Самозабвенье.
И пророческая рапира.
И такая Россия!..

Через год пролетал он над нами
в белом гробе на фоне небес,
будто в лодке — откинутый навзничь,
взявший весла на грудь — гребец.

Это было на погребенье.
Была воля небесная скул.
Был над родиной выдох гребельный —
он по ней слишком сильно вздохнул.

1960, 1977



КРОНЫ И КОРНИ

Несли не хоронить,
несли короновать.

Седее, чем гранит,
как бронза — красноват,
дымясь локомотивом,
художник жил, лохмат,
ему лопаты были
божественней лампад!

Его сирень томилась...
Как звездопад, в поту,
его спина дымилась
буханкой на поду!..

Зияет дом его.
Пустые этажи.
На даче никого.
В России — ни души.

Художники уходят
без шапок, будто в храм,
в гудящие уголья
к березам и дубам.

Побеги их — победы.
Уход их — как восход
к полянам и планетам
от ложных позолот.

Леса роняют кроны,
Но мощно под землей
ворочаются корни
корявой пятерней.

1960



КНИЖНЫЙ БУМ

Попробуйте купить Ахматову.
Вам букинисты объяснят,
что черный том ее агатовый
куда дороже, чем агат.

Кто некогда ее лягнули,
как к отпущению грехов —
стоят в почетном карауле
за томиком ее стихов?

«Прибавьте тиражи журналам», —
мы молимся книгобогам,
прибавьте тиражи желаньям
и журавлям!

Все реже в небесах бензинных
услышишь журавлиный зов.
Все монолитней в магазинах
сплошной Василий Журавлев.

Страна поэтами богата,
но должен инженер копить
в размере чуть ли не зарплаты,
чтобы Ахматову купить.

Страною заново открыты
те, кто писали «для элит».
Есть всенародная элита.
Она за книгами стоит.

Страна желает первородства.
И, может, в этом добрый знак —
Ахматова не продается,
не продается Пастернак.

1977



ГИТАРА

К нам забредал Булат
под небо наших хижин
костлявый как бурлак
он молод был и хищен

и огненной настурцией
робея и наглея
гитара как натурщица
лежала на коленях

она была смирней
чем в таинстве дикарь
и темный город в ней
гудел и затихал

а то как в реве цирка
вся не в своем уме —
горящим мотоциклом
носилась по стене!

мы — дети тех гитар
отважных и дрожащих
между подруг дражайших
неверных как янтарь

среди ночных фигур
ты губы морщишь едко
к ним как бикфордов шнур
крадется сигаретка

1960



* * *

Прими, Господь, поэта улиц
и со Святыми упокой
за соколиную сутулость,
нахохленную над струной.

Прощай, Булат. Политехнический.
И те, кто рядышком сидят.
Твой хрипловатый катехизис —
нам как пароль. Прости, Булат...

Он жил, как жить должны артисты.
По-христиански опочил.
Стихами, в бытность атеистом,
Тебе он, Господи, служил.



ПЛАСТИНКА

Старая песенка
мне боль ослабила,
сняла все прессинги,
как раньше, набело,
легла мне на́ сердце,
на «раза табула» —
табулатабулатабулатабулатабулат
булатабулатабулатабулатабулатабула
табулатабулатабулатабулата
булата сердце
игла корябала
нам на усладу



* * *

Пусть наше дело давно труба,
пускай прошли вы по нашим трупам,
пускай вы живы, нас истребя,
вы были — трупы, мы были — трубы!

Средь исторической немоты
какой божественною остудой
в нас прорыдала труба Судьбы!
Вы были — трусы, мы были — трубы.

Вы стены строили от нас затем,
что ваши женщины от нас в отрубе,
но проходили мы сквозь толщу стен,
на то и трубы!

Мы трубадуры от слова «дуры».
Вы были правы, нас растоптавши.
Вы заселили все кубатуры.
Пространство — ваше. Но время — наше.

Разве признаетесь вы себе
в звуконепроницаемых срубах,
что вы завидуете трубе?
Живите, трупы. Зовите, трубы!

1981

ХРАМ

На сердце хмара.
В век безвременья
мы не построили своего храма.
Мы все — римейки.

Мы возвели, что взорвали хамы,
Нас небеса еще не простили —
мы не построили своего храма.
В нас нету стиля.

Мышки-норушки,
не сеем сами.
Красой нарышкинской, душой нарушенной,
чужими молимся словесами.

Тишь в нашей заводи.
Но скажем прямо —
создал же Гауди молитву-ауди.
Но мы не создали с в о е г о храма.

Не в форме порно.
Но даже в сердце
мы не построили нерукотворной
домашней церкви.

Бог нас не видит.
И оттого
все наши драмы —
мы не построили своего
храма.



БЬЕТ ЖЕНЩИНА

В чьем ресторане, в чьей стране —
не вспомнишь,
но в полночь
есть шесть мужчин, есть стол, есть Новый год,
и женщина разгневанная — бьет!

Быть может, ей не подошла компания,
где взгляды липнут, словно листья банные?
За что — неважно. Значит, им положено —
пошла по рожам, как белье полощут.

Бей, женщина! Бей, милая! Бей, мстящая!
Вмажь майонезом лысому в подтяжках.
Бей, женщина!
Массируй им мордасы!

За все твои грядущие матрасы,
за то, что ты во всем передовая,
что на земле давно матриархат —
отбить,
обуть, быть умной,
хохотать —
такая мука — непередаваемо!

Влепи ему в паяло солоницу.
Мужчины, рыцари,

куда ж девались вы?!
Так хочется к кому-то прислониться —
увы...

Бей, реваншистка! Жизнь — как белый танец.
Не он, а ты его, отбивши, тянешь,
Пол-литра купишь.
Как он скучен, хрыч!
Намучишься, пока расшевелишь.

Ну можно ли в жилет пулять мороженым?!
А можно ли
в капронах
ждать в морозы?
Самой восьмого покупать мимозы —
можно?!

Виновные, валитесь на колени,
колонны, люди, лунные аллеи,
вы без нее давно бы околели!
Смотрите, из-под грязного стола —
она, шатаясь, к зеркалу пошла.

«Ах, зеркало, прохладное стекло,
шепчу в тебя бессвязными словами,
сама к себе губами
прислоняюсь
и по тебе
сползаю
тяжело,

и думаю: трусишки, нету сил —
меня бы кто хотя бы отлупил!..»

МОРОЗНЫЙ ИППОДРОМ*В. Аксенову*

Табуном рванулись трибуны к стартам.
В центре — лошади,
вкопанные в наст.
Ты думаешь, Вася,
мы на них ставим?
Они, кобылы, поставили на нас.

На меня поставила вороная иноходь.
Яблоки по крупу — е-мое...
Умеет крупно конюшню вынюхать.
Беру все финиши, а выигрыш — ее.

Королю кажется, что он правит.
Людям кажется, что им — они.
Природа и роци на нас поставили.
А мы — гони!

*Колдуют лошади, они шепочут.
К столбу Ханурик примерз цепочкой.
Все-таки 43°...*

*Птица замерзла в воздухе, как елочная игрушка.
Мрак, надвигаясь с востока, замерз посредине
неба, как шторка
у испорченного фотоаппарата.*

*А у нас в Переделкине, в Доме творчества,
были открыты 16 форточек.
Около каждой стоял круглый плотный комок
комнатного воздуха.*

*Он состоял из сонного дыхания, перегара,
тяжелых идей.
Некоторые заклопывают фортки марлей,
чтобы идеи не вылетали из комнаты,
как мухи.
У тех воздух свисал тугой и плотный,
как творог в тряпочке...*

*Свистят Ханурику.
Но кто свистит?
Свисток считает, что он свистит.
Мильтон считает, что он свистит.
Закон считает, что он свистит.*

*Планета кружится в свистке горошиной,
но в чьей свистульке? Кто свищет? Глядь —
упал Ханурик. Хохочут лошади —
кобыла Дунька, Судьба, конь Блед.*

*Хохочут лошади.
Их стоны жутки:
«Давай, очкарик! Нажми, Андрей!»
Их головы покачиваются,
как на парашютиках,
на паре, выброшенной из ноздрей.
Понятно, мгновенно замерзшем.
Все-таки 45°...
У ворот ипподрома лежал Ханурик.
Он лежал навзничь. Слева — еще пять.*

*Над его круглым ртом,
короткая, как вертикальный штопор,
открытый из перочинного ножа, стояла
замерзшая Душа.*

*Она была похожа на поставленную торчком
винтообразную сосульку.*

*Видно, испарялась по спирали,
да так и замерзла.*

*И как, бывает, в сосульку вмерзает листик или
веточка,
внутри ее вмерзло доказательство добрых
дел,
взятое с собой. Это был отрывок доноса
на соседа.*

*Над соседними тоже стояли Души, как
пустые
бутылки.*

Между тел бродил Ангел.

*Он был одет в сатиновый халат
подметальщика.*

Он собирал Души, как порожние бутылки.

Внимательно

проводил пальцем — нет ли зазубрин.

Бракованные скорбно откидывал через плечо.

*Когда он отходил, на снегу оставались
отпечатки следов с подковками...*

*...А лошади Ангел — в дыму морозном
ноги растворились,
как в азотной кислоте,
шейку шаловливо отогнула, как полозья,
сама, как саночки, скользит на животе!..*

1967

СТАРАЯ ПЕСНЯ

Г. Джагарову

Пой, Георгий, прошлое болит.
На иконах — конская моча.
В янычары отняли мальчика.
Он вернется — родину спалит.

Мы с тобой, Георгий, держим стол.
А в глазах — столетия горят.
Братия насилуют сестер.
И никто не знает, кто чей брат.

И никто не знает, кто чей сын,
материнский вырезав живот.
Под какой из вражеских личин
раненая родина зовет?

Если я, положим, янычар,
не свои ль сжигаем алтари?
Где чужие — можем различать,
но не понимаешь, где свои.

Вырванные груди волоча,
остолбеневаая от любви,
мама, отшатнись от палача.
Мама! У него глаза — твои.

1968

ТОСКА

Загляжусь ли на поезд с осенних откосов,
забреду ли в вечернюю деревушку —
будто душу высасывают насосом,
будто тянет вытяжка или вьюшка,
будто что-то случилось или случится —
ниже горла высасывает ключицы.

Или ноет какая вина запущенная?
Или женщину мучил — и вот наказание?
Сложишь песню — отпустит, а дальше — пуще.

Показали дорогу, да путь заказали.
Точно тайный горб на груди таскаю —
тоска такая!

Я забыл, какие у тебя волосы,
я забыл, какое твое дыханье,
подари мне прощенье,
коли виновен,
а простивши — опять одари виною...

1967



* * *

Когда я придаю бумаге
черты твоей поспешной красоты,
я думаю не о рифмовке —
с ума бы не сойти!

Когда ты в шапочке бессейной
ко мне припустишь из воды,
молю не о души спасеньи —
с ума бы не сойти!

А за оградой монастырской,
как спирт ударит нашатырный,
последрозовые сады —
с ума бы не сойти!

Когда отчетливо и грубо
стрекозы посреди полей
стоят, как черные шурупы
стеклянных, замерших дверей,

такое растворится лето,
что только вымолвишь: «Прости,
за что мне это, человеку!
С ума бы не сойти!»

Куда-то душу уносили —
забыли принести.
«Господь, — скажу, — или Россия,
назад не отпусти!»

1970



ПРЕОБРАЖЕНИЕ

«Сестрица моя в женском вытрезвителе!
Обидели...»

Как при водолюбце Владимире Крестителе,
бабья революция воет в вытрезвителе.
Что там пририсовано на стене «Трем витязям»?
Полная свобода в вытрезвителе.

«Дома норму выдайте,
на работе выдайте,
только в вытрезвителе свобода от бытия...
Муж придет, как выдоен.
Я не меньше выдую.
Станем себе сами братья и мужья».

«Я тебя, сестричка, полюбила в хмеле.
Мы с тобой прозрели в ледяной купели.
Давай жить нарядно, словно две наяды,
купим нам фиалки,
поступим в институт.
Фабричные фискалки от зависти помрут».

«Русь, куда несешься ты, дай ответ?»
«Я рванула сослепу на красный свет».

«Бабоньки, завязываю! Слушайте таксистку.
Этак жить — тощица. На смех гаражу!

Чтобы в рот взяла я?
эту дрянь?

Спасибо.
Я хочу быть женщиной.
Мальчика рожу».

И сразу стало слышно каждое дыханье.
В белой палате — такая тишина!

Ведь в каждой спит мадонна,
светла и осиянна,
словно тронул души кистью Тициан.

Завтра они выйдут на Преображенскую.
И у каждой будет Чудо на руках.
Будет, будет мальчик.
Будет счастье женское.
Даже если будет все не так.

1973



СВЕТ ДРУГА

Я друга жду. Ворота отворил,
зажег фонарь над скосами перил.

Я друга жду. Глухие времена.
Жизнь ожиданием озарена.

Он жмет по окружной, как на пожар,
как я в его невзгоды приезжал.

Приедет. Над сараями сосна
заранее озарена.

Бежит, фосфоресцируя, кобель.
Ты друг? Но у тебя — своих скорбей...

Чужие фары сгрудят темноту —
я друга жду.

Сказал — приедет после девяти.
По всей округе смотрят детектив.

Зайдет вражда. Я выгоню вражду —
я друга жду.

Проходят годы — Германа все нет.
Из всей природы вырубают свет.

Увидимся в раю или в аду.
Я друга жду, всю жизнь я друга жду!

Сказал — приедет после девяти.
Судьба, обереги его в пути.

1979



* * *

Дорогие литсобратья!
Как я счастлив оттого,
что среди общей благодати
меня кроют одного.

Как овечка черной шерсти,
я не зря живу свой век —
оттеняю совершенство
безукоризненных коллег.

1975



ОДА ОДЕЖДЕ

Первый бунт против Бога — одежда.
Голый, созданный в холоде леса,
поправляя Создателя дерзко,
вдруг — оделся.

Подрывание строя — одежда,
когда жердеобразный чудак
каждодневно
желтой кофты вывешивал флаг.

В чем великие джинсы повинны?
В вечном споре низов и верхов —
тела нижняя половина
торжествует над ложью умов.

И, плечами пожав, Слава Зайцев,
чтобы легче дышать или плакать, —
декольте на груди вырезает,
вниз углом, как арбузную мякоть.

Ты дыши нестесненно и смело,
очертаньями хороша,
содержанье одежды — тело,
содержание тела — душа.

1977

* * *

Наш берег песчаный и плоский,
заканчивающийся сырой
печальной и темной полоской,
как будто платочек с каймой.

Направо холодное море,
налево песочечный быт.
Меж ними, намокши от горя,
темнея, дорожка бежит.

Мы больше сюда не приедем.
Давай по дорожке пройдем.
За нами — к добру по приметам —
следы отольют серебром.

1971



ГОРНЫЙ МОНАСТЫРЬ

Вода и камень.
Вода и хлеб.
Спят вверх ногами
Борис и Глеб.

Такая мятная
вода с утра —
вкус Богоматери
и серебра!

Плюс вкус свободы
без лишних глаз.
Не слово Бога —
природы глас.

Стена и воля.
Вода и плоть.
А вместо соли —
подснежников щепоть!

1970



БОЙ ПЕТУХОВ

Петухи!

Петухи!

Потуши!

Потуши!

Спор шпор,

ку-ка-регнулись!

Урарь!

Ху-ха...

Кухарка

харакири

хор

(у, икающие хари!)

«Ни хера себе Икар!»

хр-ррр!

Какое бешеное счастье,

хрипя воронкой горловой,

под улюлюканье промчаться

с оторванной головой!

Забыв, что мертв, презрев природу,

по пояс в дряни бытия,

по горло в музыке восхода —

забыться до бессмертия!

Через заборы, всех беся, —
на небеса!

Там, где гуляют грандиозно
коллеги в музыке лугов,
как красные аккордеоны
с клавиатурами хвостов.

О лабухи Иерихона!
Империи и небосклоны.
Зареванные города.
Серебряные голоса.

(А кошка, злая, как оса,
не залетит на небеса.)

Но по ночам их кличет пламенно
с асфальтов, жилисто-жива,
как орден Трудового Знамени
оторванная голова.

1968



ВРЕМЯ НА РЕМОНТЕ

Как архангельша времен
на часах над Воронцовской
баба вывела: «Ремонт».

И спустилась за перцовкой.
Верьте тете Моте —
Время на ремонте.

Время на ремонте.
Медлят сбросить кроны
просеки лимонные
в сладостной дремоте.

Фильмы поджеймсондили.
В твисте и нервозности
женщины — вне возраста.
Время на ремонте.

Снова клеши в моде.
Новости тиражные —
как позавчерашние.
Так же тягомотны.

В Кимрах именины.
Модницы в чулках,
в самых смелых «мини» —
только в челочках.

Мама на «Раймонде».

Время на ремонте.

Реставрационщик

потрошит да Винчи.

«Лермонтов» в ремонте.

Гаечки там подвинчивают.

*«Я полагаю, что пара вертолетов
значительно изменила бы ход Аустерлицкого
сражения.*

*Полагаю также, что наступил момент
произвести*

девальвацию минуты.

*Одна старая мин. равняется 1,4 новой. Тогда,
соответственно, количество часов в сутках
увеличивается, возрастет производительность
труда, а в оставшееся время мы сможем
петь...»*

Время остановилось,

Время 00 — как надпись на дверях.

*Прекрасное мгновенье, не слишком ли ты
подзатянулось?*

*Которые все едят и едят,
вся жизнь которых — как затянувшийся
обеденный перерыв,*

*которые едят в счет 1985 года,
вам говорю я:*

«Вы временны».

*Конторские и конвейерные,
чья жизнь — изнурительный*

производственный ритм,

вам говорю я:

«Временно это».

Которая шьет-шьет, а нитка все не кончается,

которые замерли в 30 м от финиша

со скоростью

270 км/никогда,

вам говорю я:

«Увы, и вы временны...»

«До-до-до-до-до-до-до-до» — он уже

продолбил клавишу,

так что клавиша стала похожа на домино

«пусто-один» —

«до-до-до»...

Прекрасное мгновенье,

не слишком ли ты подзатянулось?

Помогите Время

сдвинуть с мертвой точки.

Гайки, Канты, лемехи,

все — второисточники.

Не на семи рубинах

циферблат Истории —

на живых, любимых,

ломкие которые.

Может, рядом, около,

у подружки ветреной

что-то больно екнуло,

а на ней все вертится.

Обнажайте заживо
у себя предсердие,
дайте пересаживать.
В этом и бессмертие.

Ты прощай, мой щебет,
сжавшийся заложник,
неизвестность щемит —
вдруг и ты заглохнешь?

Неизвестность вечная —
вдруг разожмется?
Если человеческое —
значит, приживется.

И колеса мощные
время навернет.
Временных ремонтников
вышвырнет в ремонт!



ШАЛАНДА ЖЕЛАНИЙ

Шаланда уходит. С шаландой неладно.
Шаланда желаний кричит в одиночестве.
Послушайте зов сумасшедшей шаланды,
шаланды — шаландышаландышаландыша —
л а н д ы ш а хочется!

А может, с кормы прокричала челночница?
А может, баржа недодолбанной бандерши?
Нам ландыша хочется! Ландыша хочется!
Как страшно качаться под всею командой!
В трансляции вандала, вандала, вандала
«Лаванда» лавандалаванда не кончится.

А море, вчерашнее рашен, дышало,
кидало до берега пачки цветочные.
И все писуары Марсея Дюшана
белели талантливо. Но не точно.

И в этом весь смысл королев и шалавы
последней, пронзающий до позвоночника,
и шепот моей сумасшедшей шаланды,
что я не услышал:
«Л а н д ы ш а хочется...»

ЦИКЛАМЕНА

У адского края, где рушатся стены,
не понимая, цветет цикламена.

не понимая, не понимая,
что жить остается так минимально,
доверчивой трубкой детского ротика
цветет целомудренная эротика.

Букашка на щечке щекочет, как родинка,
не понимая, что рушится родина.
Иль то, что не знаем, поняв сокровенно?

Цвети, цикламена!



ВАЛЬС ПРИ СВЕЧАХ

Любите при свечах,
танцуйте до гудка,
живите — при сейчас,
любите — при когда?

Ребята — при часах,
девчата — при серьгах,
живите — при сейчас,
любите — при Всегда,

прически — на плечах,
щека у свитерка,
начните — при сейчас,
очнитесь — при всегда.

Цари? Ищи-свищи!
Дворцы сминаемы.
А плечи все свежи
и несменяемы.

Когда? При царстве чьем?
Не ерунда важна,
а важно, что пришел.
Что ты в глазах влажна.

* * *

Мордеем, друг. Подруги молодеют.
Не горячитесь.
Опробуйте своей моделью,
как «анти» превращается в античность.



ОБСТАНОВЧКА

Это мой теневой кабинет.
Пока нет:
гардероба
и полн. собр. соч. Кальдерона.
Его Величество Александрійский буфет
правит мною в рассрочку несколько лет.
Вот кресло-катапульта
времен борьбы против культа.
Тень от предстоящей иконы:
«Кинозвезда, пожирающая дракона».
Обещал подарить Солоухин.
По слухам,
VI век.
Феофан Грек.
Стол. «Кент».
На столе ответ на анкету:
«Предпочитаю «Беломор» «Кенту».
Вот жены акварельный портрет.
Обн. натура.
Персидская миниатюра.
III век. Эмали лиловой.
Сама, вероятно, в столовой...
Вот моя теневая столовая —
смотрите, какая здоровая!

На обед
все, чего нет
(след. перечисление ед).

Тень бабушки — салфетка узорная,
вышивала, страданица, вензеля иллюзорные.
Осторожно, деда уронишь!
Пианино. «Рениш».
Мамино.
Видно, жена перед нами играла Рахманинова.
Одна клавиша полуутоплена,
еще теплая.
(Бьет.) Ой, нота какая печальная!
Сама, вероятно, в спальне.
Услышала нас и пошла наводить марафет.
«Уходя, выключайте свет!»
«Проходя через пороги,
предварительно вытирайте ноги.
Потолки новые —
предварительно вымывайте голову».

Вот моя теневая спальня.
Ой, как развалено...
Хорошо, что жены нет.
Тень от Милы, Нади, Ниннет
+ 14 созданий
с площади Испании.

Уголок забытых вещей!
№ 2-й,
№ 3-й,
№ 8-й — никто не признается чей!
А вот женина брошка.
И платье брошено...
наверное, опять побегла к Аэродрому
за димедролом...

Актриса, но тем не менее!
Простите, это дела семейные...

(В прихожей, черен и непрост,
кот поднимал загнутый хвост,
его в рассеянности Гость,
к несчастью, принимал за трость.)

Вот ванная.
Что-то странное!
Свет под дверью. Заперто изнутри.
Нет, не верю! Эй, Аэродромов, отвори!
Вот так всегда.

Слышите, переливается на пол вода.
(Стучит.) Нет ответа.
(От страшной догадки он делается
неузнаваем.)
О нет, только не это!..
Ломаем!

Она ведь вчера говорила —
«Если не придешь домой...»
Милая! Что ты натворила!
(Дверь высаживают.)
Боже мой!..
Никого. Только зеркало запотелое.
Перелитая ванна полна пустой глубины.
Сухие, нетронутые полотенца...

Голос из стены:
«А зачем мне вытираться,
вылетая в вентиляцию?!»

* * *

Я — вселенский полудурок.
Бит Никиткой и тоской!
Вознесенский — переулок
меж Никитской и Тверской.

Невезенья квинтэссенция,
он не трасса, а тропа.
Здесь на Пасху Вознесенская
просияла Скорлупа.

Здесь подруги и собратья,
власть в малиновом дому.
Мы к Чайковскому в объятья
попадаем по нему.

И красавица из местных,
не святоша и не блядь,
в Вознесенской лавке крестик
сладко будет примерять.

С тьмой литературных урок
разберусь я вдругорядь.
Вознесенский переулок
не переименовать.

* * *

Зое

Живу в сторожке одинокой,
один-один на всем свету.
Еще был кот членистоногий,
переползающий тропу.

Он, в плечи втягивая жутко
башку, как в черную трубу,
вещал, достигнувши желудка,
мою пропащую судьбу.

А кошка — интеллектом уже,
Знай, штамповала деток в свет,
углами загибала ушки
им, как укладчица конфет.

1969



* * *

Еще немного дай побыть мне так.
В окно запах глухонемой табак.

От рамы тень бретелькой на плечо.
Мне так побыть немного дай еще.

Дай мне немного так еще побыть,
не убегай умыться и попить.

Как, боже, твой благословенен край!
Еще немного так побыть мне дай.



* * *

Слоняюсь под Новосибирском,
где на дорожке к пустырю
прижата камушком записка:
«Прохожий, я тебя люблю!»

Сентиментальность озорницы,
над вами прыснувшей в углу?
Иль просто надо объясниться?
«Прохожий, я тебя люблю!»

Записка, я тебя люблю!
Опушка — я тебя люблю!
Зверюга — я тебя люблю!
Разлука — я тебя люблю!

Детсад — как семь шаров воздушных,
на шейках-ниточках держась.
Куда вас унесет и сдует?
Не знаю, но страшусь за вас.

Как сердце жмет, когда над осенью,
хоть никогда не быть мне с ней,
уносит лодкой восьмивесельной
в затылок ниточку гусей!

Прощающим благодареньем
пройдет деревня на плаву.
Что мне плакучая деревня?
Деревня, я тебя люблю!

И как ремень с латунной пряжкой
на бражном, как античный бог,
на нежном мерине дремавшем
присох осиновый листок.

Коняга, я тебя люблю!
Мне конюх молвит мирозданьем:
«Поэт? Люблю. Пойдем — раздавим...»
Он сам, как осень, во хмелю.

Над пнем склонилась паутина,
в хрустальном зеркале храня
тончайшим срезом волосиным
все годовые кольца пня.

Будь с встречным чудом осторожней...
Я встречным «здравствуй» говорю.
Несешь мне гибель, почтальонша?
Прохожая, тебя люблю!

Прохожая моя планета!
За сумасшедшие пути,
проколотые, как билеты,
поэты с дырочкой в груди.

И как цена боев и риска,
чем, ярлычочек на клею,
к Земле приклеена записка:
«Прохожий, я тебя люблю!»

* * *

Никто меня не провожал.
Но я не терзался обидой.
Плыл провинциальный вокзал,
пропахший мочой и оббитый.

Никто меня не провожал.
Лишь пес провожал меня лаем.
За то, что его привязал
хозяин, похмельем терзаем.

Я шел, напевая мотив.
Меня ты не провожаешь.
И имя мое прикусив,
ты мужа сейчас ублажаешь.

Мой тайный приезд и отъезд
прослеживается звездой.
Пока ей не надоест
мое пребыванье земное.



СЕСТРА

Сестра, ты в «Лесном магазине»
выстояла изюбрину,
тиха, как в монастыре.
Любовницы становятся сестрами,
но сестры не бывают возлюбленными.
Жизнь мою опережает
лунная любовь к сестре.

Дело не во Фрейде или Данте.
Ради родителей, мужа, брата, etc,
забыла сероглазые свои таланты
преступная моя сестра.

Твой упрямый лобик написал бы Кранах,
только облачко укоризны
неуловимо для мастерства,
да и руки красные
от водопроводных кранов —
святая моя сестра!

Что за дальний свет сострадания,
обретая на срок земной
человеческие очертанья,
стал сестрой?..

Жила-была девочка.
Ее рост — на шкафу зарубками.

Кто сказал,
что не труженица лобастая стрекоза?
Маешься на две ставки,
стираешь, шьешь,
не воруешь,
бесстрашная моя сестра.

Для других ты — доктор. И когда уверенно
надеваешь с короткими рукавами халат —
будто напяливаешь
безголово-безрукую Венеру.
Я с ужасом замечаю,
что торс тебе тесноват...

Ссорясь с подругой и веком или сойдя с катушек,
когда я на острие —
скажу: «Поставь раскладушку» —
вздохнувшей моей сестре.

Сестра моя, как ты намучилась,
таща авоськи с морковью!..
Метромост над тобой грохочет
как чугунный топот Петра.
А рядом — за стенкой, за Истрою, за Москвою —
страна живет, как сестра.

Сестра твоя по страданию,
по божеству родства,
по терпеливой тайне —
бескрайняя твоя сестра...

Сестра моя, не заболела?

Сестра моя, поспала бы...

В зимние вечера

над шитьем сутулятся

две русых настольных лампы.

Одна из них — моя сестра.



* * *

Спаси нас, Господи, от новых арестов.
Наш Рим не варвары разбили грозные.
Спаси нас, Господи, от самоварварства,
от самоварварства спаси нас, Господи.

Как заяц, мчимся мы перед фарами,
но не чужие за нами гонятся!
Мы погибаем от самоварварства.
От самоварварства спаси нас, Господи.

У нас не Демон украл Самару,
не панки съели страну, не гопники.
В публичных ариях, в домашних сварах
от самоварварства спаси наш госпиталь.
Не о себе сейчас разговариваю,
но и себя поминаю, Господи.

От мракобесья обереги нас,
от светлобесья избавь нас, Господи.
Новой победе самофракийской
не только крылья оставь, но — голову!..

Мне все же верится, Россия справится.
Есть просьба, Господи, еще одна —
пусть на обломках самоварварства
не пишут наши имена.

ГОЙЯ

Я — Гойя!

Глазницы воронок мне выклевал ворог,
слетая на поле нагое.

Я — Горе.

Я — голос

Войны, городов головни
на снегу сорок первого года.

Я — голод.

Я — горло

Повешенной бабы, чье тело, как колокол,
било над площадью голой...

Я — Гойя!

О, грозди

Возмездья! Взвил залпом на Запад —
я пепел незваного гостя!

И в мемориальное небо вбил крепкие
звезды —

Как гвозди.

Я — Гойя.

1957

**ВЕЧЕР
В «ОБЩЕСТВЕ СЛЕПЫХ»**

Милые мои слепые,
слепые поводыри,
меня по своей России,
невидимой, повели.

Зеленая, голубая,
розовая на вид,
она, их остерегая,
плачет, скрипит, кричит.

Прозрейте, товарищ зрячий,
у озера в стоке вод.
Вы слышите — оно плачет?
А вы говорите — цветет.

Чернеют очки слепые,
отрезанный мир зовут —
как ветви живьем спилили,
следы окрасив в мазут.

Скажу я вам — цвет ореховый,
вы скажете — гул ореха.
Я говорю — зеркало,
вы говорите — эхо.

Вам кажется Паганини
красивейшим из красавцев,
Сильвана же Поманини —
сиплая каракатица,
вам пудреница покажется
эмалевой панагией.

Пытаться читать стихи
в обществе слепых —
пытаться скрывать грехи
в обществе святых.

Плевать им на куртку кожаную,
на показуху рук,
они не прощают кожу
наглый и лживый звук.

И дело не в рифмах бедных —
они хорошо трещат, —
но пахнут, чем вы обедали,
а надо петь натошак!

И в вашем слепом обществе,
всевидящем, как Вишну,
вскричу, добредя ощупью:
вижу!

зеленое зеленое зеленое
заплакало заплакало заплакало
зеркало зеркало зеркало
эхо эхо эхо

1974

ЖЕЛТЫЙ ДОМ

Проживаю в желтом доме, в желтом доме,
как в кубическом лимоне.

Быт на сломе, газ разболтан
в желтом доме, в доме желтом.

А за стенкою во внешнем доме желтом
оппадают листопадные дензнаки.

По ночам мои окошки светят золотом,
потому что они темные с изнанки.

Ко мне утро сквозь фрамуги
желтой женщиной влетит.

Обо мне в лесах округи
пресса желтая шумит.

Чаадаевской картошки понарою.

Волчьей ягоды нажрусь до тошноты.

У коров наших диагноз «паранойя».

Я достаточно орал Савонаролой,
я спасаюсь шоком тишины.

В этом доме, в темном томе,

записал я Твою речь

против света, в полудреме

с золотым обрезом плеч.

В этом двухэтажном доме
я любил. А что есть кроме?
Остальное лжет.

Скомкана салфетка в тоне.
Желт, желт

между красным и зеленым,
меж закатом и газоном,
как глазунья, в невезучий
переходный жизни час,
предзакатное безумье,
желтый глаз мигает в нас.

Хоть надень на солнце шорты!
Не укрыться охламонам.
Век зажегся кофтой желтой,
завершился желтым домом.

В желчном зеркале, из рамы,
озирая мой прикид,
не белками, а желтками
рожа мерзкая глядит.

Прыгнуть бы с «Песней о Соколе»,
с крыши, проломив крыльцо!..
Но за горло держит цоколь
цокольцокольцокольцо.

Полосатый, как батоны,
теплый кот на стол залег.
Вдаришь в стенку — на ладони
сыплется яичный порошок
желтый, желтый, как тяжел ты,

да пошел ты!..
Пациенты лезут в форточку по желобу.
Пишут письма мне потом:

Адрес точен, как жетон:
Россия. Желтый дом.



ХОББИ СВЕТА

Я сплю на чужих кроватях,
сизжу на чужих стульях,
порой одет в привозное,
ставлю свои книги на чужие стеллажи, —
но свет
должен быть
собственного производства.
Поэтому я делаю витражи.

Уважаю продукцию ГУМа и Пассажа,
но крылья за моей спиной
работают как ветряки.
Свет не может быть купленным
или продажным.
Поэтому я делаю витражи.

Я прутья свариваю электросваркой.
В наших магазинах не достать сырья.
Я нашел тебя на свалке.
Но я заставлю тебя сиять.

Да будет свет в тебе
молитвенный и кафедральный,
да будут сумерки, как тамариск,
да будет свет
в малиновых твоих подфарниках,
когда ты в сумерках притормозишь.

Но тут мое хобби подменяется любовью.
Жизнь расколота? Не скажи!
За окнами пахнет средневековьем.
Поэтому я делаю витражи.

Человек на 60% из химикалиев,
на 40% из лжи и ржи...
Но на 1% из Микеланджело!
Поэтому я делаю витражи.

Но тут мое хобби занимается теософией.
Пузырьки внутри сколов
стоят, как боржом.
Прибью витраж на калитку тесовую.
Пусть лес исповедуется
перед витражом.

Но это уже касается жизни, а не искусства.
Жжет мои легкие эпоксидная смола.
Мне предлагали (по случаю)
елисеевскую люстру.
Спасибо. Мала.

Ко мне прицениваются барышники,
клюют обманутые стрижи.
В меня прицеливаются булыжники.
Поэтому я делаю витражи.

1975



РУБЛЕВСКОЕ ШОССЕ

Мимо санатория
реют мотороллеры.

За рулем влюбленные —
как ангелы рублевские.

Фреской Благовещенья,
резкой белизной
за ними блещут женщины,
как крылья за спиной!

Их одежда плещет,
рвется от руля,
вонзайтесь в мои плечи,
белые крыла.

Улечу ли?
Кану ль?
Соколом ли?
Камнем?

Осень. Небеса.
Красные леса.

1961

ДВЕ ПЕСНИ**1****ОН**

Возвращусь в твой сад запущенный,
где ты в жизнь меня ввела,
в волосы твои распущенные
шептал первые слова.

Та же Ялта полутемная.
Дочь твоя, белым-бела,
мне в лицо мое смятенное
шепчет первые слова.

А потом лицом в коленки
белокурые свои
намотает, как колечки,
вокруг пальчиков ступни.

Так когда-то ты наматывала
свои царские до пят
в кольца черные, агатовые
и гадала на агат!

И печальница другая
усмехается, как мать:
«Ведь венчаются ногами.
Надо б ноги обручать».

В этом золоте и черни
есть смущенные черты,
мятный свет звезды дочерней,
счастье с привкусом беды.

Оправдались суеверия.
По бокам моим встает
горестная артиллерия —
ангел черный, ангел белая —
перелет и недолет!

Белокурый недолеток,
через годы темноты
вместо школьного, далекого,
говорю святое «ты».

Да какие там экзамены,
если в бледности твоей
проступают стоны мамыны
рядом с ненавистью к ней.

Разлучая и сплетая,
перепутались вконец
черная и золотая —
две цепочки из колец.

Я б сказал, что ты, как арфа,
чешешь волосы до пят.
Но важней твое «до завтра».
До завтра б досуществовать!

2

ОНА

Волосы до полу, черная масть — мать.
Дождь белокурый, застенчивый в дрожь — дочь.

«Гость к нам стучится, оставь меня с ним на всю
ночь,
дочь».

«В этой же просьбе хотела я вас умолять,
мать».

«Я — его первая женщина, вернулся до ласки
охоч,
дочь».

«Он — мой первый мужчина, вчера я боялась
сказать,
мать».

«Доченька... Сволочь!.. Мне больше не дочь,
прочь!..»

.....

«Это о смерти его телеграмма,
мама!..»

1971



СПАСИТЕ ЧЕРЕМУХУ

Спасите черемуху! Как в целлофаны,
деревья замотаны исчервленные.
Вы в них целовались. Летят циферблаты.
Спасите черемуху!

Вы, гонщики жизни в «Чероки» красивом,
ты, панк со щеками, как чашка Чехонина...
Мы без черемухи — не Россия.
Спасите черемуху.

Зачем красоту пожирают никчемные?!
К чему, некоммерческая черемуха,
ты запахом рома дышала нам в щеки,
как тыщи волшебных капроновых щеточек!

Ее, как заразу, как класс, вырубают
под смех зачумленный.
Я из солидарности в белой рубашке
сутуло живу, как над речкой черемуха.

Леса без черемухи — склад древесины.
Черемухи хочется! Так клавесину
Чайковского хочется! К вечеру сильно
и вкладчице «Чары», и телке в косынке,
несчастливым в отсидке, и просто России,

опаутиненной до Охотского,
черемухи хотца, черемухи хотца,
вместо газа одноименного
черемухи хочется. Сдохла черемуха.

Приду, обниму тебя за оградой,
но сердце прилипнет к сетям шелкопряда.
Шевелятся черви в душе очарованной...
Спасите черемуху!

Придет без черемухи век очередной...
Тебя мы сожрали, чмуры и чмуренихи.
Лесную молитву спасите черемуху!
Спасите черемухой.



* * *

Ну что тебе надо еще от меня?
Чугунна ограда. Улыбка темна.
Я музыка горя, ты музыка лада,
ты яблоко ада, да не про меня!

На всех континентах твои имена
прославил. Такие отгрохал лампы!
Ты музыка счастья, я нота разлада.
Ну что тебе надо еще от меня?

Смеялась: «Ты агнел?» — я лгал, как змея.
Сказала: «Будь смел» — не вылезил из спален.
Сказала: «Будь первым» — я стал гениален,
ну что тебе надо еще от меня?

Исчерпана плата до смертного дня.
Последний горит под твоим снегопадом.
Был музыкой чуда, стал музыкой яда,
ну что тебе надо еще от меня?

Но и под лопатой спую, не вина:
«Пусть я удобенье для божьего сада,
ты — музыка чуда, но больше не надо!
Ты случай досады. Играй без меня».

И вздрогнули складни, как створки окна.
И вышла усталая и без наряда.
Сказала: «Люблю тебя. Больше нет сладу.
Ну что тебе надо еще от меня?»

1971



Самое главное, чего удалось достичь Вознесенскому, — он вырвался за пределы равномерных квадратиков, в которых поэзия марширует вот уже несколько столетий. Стих стал спиральным, как Галактика, строка закруглилась, как змея, кусающая свой хвост. Незаслуженно забытая традиция гениального поэта XVII века Симеона Полоцкого возрождена на новом витке. Это похоже на переход от Евклидовой геометрии к геометрии Лобачевского. Стих перестал быть прямолинейным, обрел округлость и выгнутость, свойственную всему живому.

Но при всех своих открытиях поэт не теряет самое главное свойство своей поэзии — нежный трагический лиризм.

К. Кедров

АРЕНДА

Рухнул мир Левиафана.
Мой последний закидон —
арендную у Литфонда
желтый дом.

Соскребаю всю валюту
и влагаю в развалюху.
Крою крышу, стены строю
на песке.
В страшный год — сажу левкой.
Строю собственность Литфонду —
не себе.

Снится штукатуру Насте —
НАСТЕНАТЕНА С Т Е Н А.
«Плитка — плиткaплиткaплиткaплиткa...
«Капли-ит», — говорит она.

Все в разрухе — из афронта
строй, дурак!
Друг из Бруклина шлет фото,
мол, гуд лак!..
Мой адрес — мрак.

За заборчиком лимонным
растит репу и бурак
запредельный член Литфонда
Пастернак.

ПЕРЕХОД

За что мне этот переход?

Я в подсознание Москвы
спустился в судьбы и мослы,
где каждый душу продает.

Я к Склифосовке в переход
от бешенства шел на укол.

И каждый, кто сюда пришел,
как урка, клал кишки на стол.

Кто лез из «Вольвы» наверху,
свою здесь нюхал требуху.

И женщина под общий смех
рожала на виду у всех.

Не из протеста — от тоски,
носки развесив, как беду,
народ кладет свои кишки,
когда совсем невоготу.

Господь нас превратил в господ.
На что нам этот переход?

Был скоточеловекобог,
стал богочеловекоскот.
Телка, слаба на передок,
несла для пыток утюжок.

Криминогенная пила
лежала тенью от Кремля.
Была опасной колбаса —
колба из пса.
И целлофан вместо гробов
искали толпы мертвецов.
Лишась бердяевских примет,
наш Дух переходил в Предмет.
Инстинкт пластинками синел.
Печаль садилась на шинель.
Мысль разносила менингит.
Стаканы мутны от идей.
Им было больно ими быть,
не быть было еще больней.
Безвыходно в стране той жить,
безвыходно расстаться с ней.
И было стыдно русским быть,
не быть было еще стыдней.
Шинель надета на гуру.
И беспредел смердел в углу.
Я торопился на иглу.
Вязали бешенство в мешок.
Сажали душу на горшок.
Над городом зиял Гор-шок.
России расширялся шов
в душе и через потолок.
Дай передыха, переход!
С клочка газеты «Эрих Хон...»

порошковая душа
жалась в банке алкаша.

Он пред собой сгребал, как краб,
свой прожитый грошовый скарб.
Лежал, как лилипута скаल्प,
презерватив — пупок любви.
Хичкок.

Я отдал бы кишки свои,
чтобы не видеть их кишок!

Но прорастала сквозь меня
щетина псиная моя.
Резнувшийся чертополох,
стояла Ты на четырех.
Были похожи на Твои
пульсирующие мозги
под злыми мухами Москвы —
Твой смех, как боль наоборот...

За что нам этот переход?
За что всеобщий этот шок
души на уровне кишок?
За что, тушитель, нас поджег?
Россия пьет на посошок.

Я в Склифософский переход
спустился, как в святой приход.
Куда уходим? Что нас ждет?
За что нам этот переход?



* * *

Россия, нищая Россия,
ни разу в муке вековой
ты милостыни не просила...
Стоишь с протянутой рукой.



ГРЕХ УНЫНИЯ

Я исповедуюсь в грехе Уныния.
В людской пустыне я,
в краю Кучума, сняв глаукому,
читаю колычевскую икону.
И проступает из беспредела
идея белого Переделкина.

«В реестре Ада, — слова извилисты, —
есть грех Уныния, есть грех Гневливости».
Кредит последний в душе отшаривая,
я исповедуюсь в грехе Отчаяния.
Несут нас кони. Всадники в коме.
Читайте колычевские иконы!

Среди крушения, в котором ныне мы,
не искушай меня, грех Уныния!
Постылой вилкой из алюминия
изыдь, уныние!
Изыдь, уныние, дорогой длиною.
Изыдь от изгороди с малиною,
где смотрит женщина оперу мыльную,
не искушай ее, грех Уныния!
Жизнь не убила, она уныла.
В ней зацветают пруды уринные.

От бухт Японии и до Румынии
спаси нас, Господи, в стране Унынии!

Куда нас ангелы ведут в глуши,
умалишенные малыши?



* * *

Как спасти страну от дьявола?
Просто я останусь с нею.
Врачевать свою аурой,
что единственно имею.

Не ура-патриотизмом,
не ударом побольнее —
тайной аурой артиста,
что единственно умею.



ИЗ ПОЭМЫ «АНДРЕЙ ПОЛИСАДОВ»

* * *

Как Россия ела! Семга розовела,
луковые стрелы, студень оробелый,
красная мадера в рюмке запотела,
в центре бычье тело корочкой хрустело, —
как Россия ела! — крабов каравеллы,
смена семь тарелок — все в один присест,
угорь из-под Ревеля — берегитесь, Ева! —
Ева змея съела, яблочком заела,
а кругом сардели на фарфоре рдели,
узкие форели в масле еле-еле,
страстны, как свирели, царские форели,
стейк — для кавалеров, рыбка — для невест,
мясо в центре пира, а кругом гарниры —
платья и мундиры, перси и ланиты,
а кругом гарниры — заливные нивы,
соловьи на ивах, странники гонимые,
а кругом гарниры — Господи, храни их! —
сонмы душ без имени:
Забыв Божий перст,
ест всеильный округ, а в окошках мокрых
вся Россия смотрит, как Россия ест.

РОССИЯ БЕЗ ОЧЕРЕДЕЙ

В России нет очередей.
Народ добился, чародей.
А может, это не Россия?
Одни машины за бензином.
Иль нет в Отечестве людей,
чтоб постоять за апельсинами,
за сникерсами из резины?!
К Зосиме нет очередей,
засим преступник он, Зосима.
Один стою в ряду осинок.
И д е и нет в тоске полей,
И д е и нет в шоссе транссирующем,
И д е и нет в жилых массивах...
А вдруг и правда не Россия?
В посольствах очередь за ксивой.
В Россию нет очередей.



МЫ — ЯМЫ*Ю. Карякину*

— Не скифы мы, не азиаты с вами,
мы — ямы,
великие умы, прекраснейшие дамы,
мы — Янусы,
сменивши «я» на «мы» бессмысленной программы,
мы в анусе.

Мы прямо на псалмы писали на кассетник
плач Донны Саммер.

Россия — маскировочная сетка
над волчьей ямой.

Когда Урал, как страшный нос, провалится,
затянет все Нью-Йорки и Майами.

И новый Блок не выкрикнет: «Товарищи!»

Вы, яппи, дайте займы!..

Мы — ямы.

Шел не Христос пред вьюгою проклятою —
столб телеграфный в белых изоляторах
за венчик роз мы приняли по пьяни.

«Салями!..»

Мы — амен.

Но почему же именно над нами
обрывами, черемухой, грехами
встает звезда пророческого неба
самоубийственными соловьями?

А может, ангел провалился в сеть
и плачет, падший, из воздушной ямы?
— Когда Господь захочет миру спеть,
мы — ямбы.



* * *

Поглядишь, как несметно
разрастается зло —
слава Богу, мы смертны,
не увидим всего.

Поглядишь, как несмелы
табунки васильков —
слава Богу, мы смертны,
не испортим всего.

1977



В НЕПОГОДУ

З.Б.

В дождь как из Ветхого завета
мы с удивительным детиной
плечом толкали из кювета
забуксовавшую машину.
В нем русское благообразье
шло к византийской ипостаси.
В лицо машина била грязью
за то, что он ее вытаскивал.
Из-под подфарника пунцового
брандспойтово хлестала жижа.
Ну и колеса пробуксовывали,
казалось, что не хватит жизни!
Всего не помню, был незряч я
от этой грязи молодецкой.
Хозяин дачи близлежащей
нам чинно вынес полотенца.
Спаситель отмывался, терся,
отшучивался, балагуря.
И неумелая шоферша
была лиха и белокура.
Нас высадили у заставы,
на перекрестке мокрых улиц.
Я влево уходил, он вправо.
Дороги наши разминулись.

1972

ЗЕВАКА

Я — Москвы зевака,
снайперов мишень.
Нас с моста эвакуируют
взашей.
Все, как у «Живаго».
Без Христа страшной.

На витринах Снайдерсы,
а в кармане — вакуум.
Сникерсы и снайперы.
Что-то рядом звякнуло.
Что-то рядом просвистело.
Интересное кино.
Где-то бродит мое тело?
А душе не все ль равно?

Мы — случайные мишени,
мы зеваки, я и ты,
в нас постыдное смешенье
любопытства и беды.

Позабыв хохмить и охать,
я гляжу на Белый дом,
почерневший, словно ноготь
от удара молотком.

Что-то сердце хватануло.
Я гляжу позор страны,
как вверху клавиатуры
стали клавиши черны.

А на улице Неждановой,
где ходил я час назад,
разбросав стекло несданное,
три застреленных лежат.

5 октября 1994 г.



В СКЛИФЕ

В какие нас бездны сбрасывают
написанные от руки
Свобода, Равенство, Братство,
где вместо запятых — курки?

И тенью от Белого дома,
как выел пятно купорос,
с газет поднимают ладони
пробелы цензурных полос.

И русский под дулами русскими
к стенке лицом встает,
прижат как дверная ручка...
Куда эта дверь ведет?

Там раненый на хирурга
хрипит, без наркоза стерпя:
«А ты за кого, херуга?!»
— Дурак, за тебя.

В палаты там прут с автоматами.
Сестричкам грозит самосуд.
И банки отнюдь не с томатами
оглохшие бабки несут.

На койках соседних в больнице
вдруг мой одноразовый шприц
вернет к человеческой жизни
и жертв и невинных убийц?..

4 октября 1994 г.



ОГЛЯНИСЬ ВПЕРЕД

Мы летим вперед,
а глядим назад.
Какой раньше рай!
Какой раньше ад!

Мой родной народ,
оглянись вперед!



* * *

Не разлюбите без взаимности!
Еще вас любят по инерции.
Но телефон уже с заминкою,
самой вам этому не верится.
И в шарфе афтершейв жасминовый
висит в шкафу и не выветривается.

Не позабудьте без взаимности,
в себе на ключик запирайте
провинциальную гостиницу
с сухими играми в кровати,
где совы ухают совминовские,
ваш шарф, продлив полоску Млечную,
от подоконника до плинтуса
бежит дорогой подвенечною,
вы в нем всегда, как под инъекцией, —
красивая — глазам не вынести!

Не девственница книги Гиннеса,
но и не ветреница,
не напивайтесь без взаимности
с ним и счастливою соперницей.
Ну, хоть бы ненависть взаимную!

Не изменяйте без взаимности
себе. Взаимности добейтесь.
Верните его в ту гостиницу.

Когда же он наивно двинется —
тарелки об него разбейте,
пусть брызнут батарейки Сименса!
Набейте морду без взаимности.
А так — не вынести.



ЗОМБИ ЗАБВЕНЬЯ

Я проснулся от взгляда. Это было у Лобни.
За окошком стояла зомби.

И какая-то потусторонняя сила
внутри форточку отворила.

Моя зомби забвенья, ты стояла в ознобе,
по колено в прощенье,
по колено в сугробе,
потеряв одну туфлю,
сжав другую, как бомбу, —
моя зомби, программу забывшая зомби!

Забинтованный палец с проступившей зеленкой
теребил кончик елочки,
как приспущенный зонтик.

Взгляд ее был отдельным.
Он стоял с нею рядом,
заползал в сновиденье.
Все меж мною и садом
было недоуменно-вопрошающим взглядом
уголовного взлома и душевного слома,
смилуйся, распрограммируйся, зомби!

Я открыл ей окошко. Вся дрожит, но не входит.
Урезонить паломниц

в мое хобби не входит.

Я захлопнул окошко.

Я крикнул ей в злобе:

«Разблокируйся, зомби!»

Ты живешь, как под кайфом,

машинальная зомби,

спишь, встаешь, пробегаешь метро катакомбы,

в толпах зомби,

уткнувшихся в «Сына и Домби»,

учишь курсы на тумбе —

скорее диплом бы! —

смилуйся, распрограммируйся, зомби!

Я твой мастер. Брось фронду. Утри свои сопли.

Кто замкнул твое ухо серьгой, как пломбой?

«Разблокируйся, зомби!»

Я был хамом, не более.

Но какая-то потусторонняя воля

меня бросила в черное снежное поле...

Мы летели с тобой по Тамбовам и Обнинском,
зомби оба,

и ночами во сне ты кричала не маму:

«Я забыла программу, я забыла программу!..»

И внизу повторяла городов панорама:

«Я забыла программу, я забыла программу...»

И несущая нас непонятная сила

повторяла:

«Забыла, я что-то забыла...» —

по дорогам земным и небесным дорогам —
мы забыли программу, внушенную Богом.

Смилуйся, распрограммируйся, зомби!
Смилуйся, распрограммируйся, поле!
Распрограммируйся, серое солнце,
в мир, что задумывался любовью.

Распрограммируйся, туфля-подснежник!
Смилуйся, распрограммируйся, поезд!
Жизнью обертывается позднее
эта и мне непонятная повесть.

Амба. Меня ты назавтра убила.
Но не о том я молю с горизонта:
это тебя не освободило?
Милая! Распрограммируйся, зомби!



БОМЖ**1**

Задержите, задержите бомжа!
Он отвратен, нагл и поджар.
На груди скользкий след ножа —
и поверх пиджак цвета шпал.
Задержите бомжа!

Он бил в дверь. На губах бомжа.
Он ломился, дом всполоша.
(Накануне к нам залезли. С этажа
все забрали, телефон пообреза...)
Мне под хвост попала вожжа.
Я нахалу на дверь указал.
На стихи его плечами пожал.
Хам не может быть поэтом.
Пожалуйста, задержите бомжа!

Он пропал в пелене дождя.
Я обшарил магазин и вокзал.
Задержите его возле гвоздя,
задержите посредине прыжка,
среди мчащихся фар!..

Третьи сутки я жду бомжа.
Он душу у меня украл.
Хам не может быть поэтом. Финал.
И ничьих следов после дождя.

2

И лужи ложились под фары машины —
«Бомжи мы!»

А он где-то шел, отжимая штанины,
и пил от обиды глотками большими,
и темные лица на улицах мокли,
мечтая порыться в нью-йоркских помойках,
и беженцев души без визы блажили:
«Бомжи мы!»

И пуля в больнице, и мальчик в божнице,
и с неба зарница, как шапку на днище,
и садик, вверх взорванный корневищами,
и Вечная мысль, прошмыгнувшая мышью,
и совесть, что смылась на дно из бомонда,
и ты, как и тыщи, проснувшийся нищим,
и бонза, внедривший понятие бомжа,
Россия, свою потерявшая нишу, —
(есть тайное братство страдальцев свободы,
кто с нами прожил эти страшных три года) —
все были бомжами — от толп до вождя.

Но нет среди них моего бомжа.



ИСКУШЕНИЕ

Л. Додину

Сквозь асфальт, сквозь фальстарт, ад преград — рос,
а ему говорят, говорят — брось,
а ему говорят, говорят — сор.
Ну, а он говорит, говорит — сюр!
А ему говорят, говорят — вон!
Ну, а он говорит, говорит — нов,
а ему говорят, говорят — раб!
Ну, а он говорит, говорит — рэп,
а ему говорят, говорят — груб,
ну, а он говорит, говорит — ...бург,
а ему говорят, говорят — катафалк.
Ну, а он говорит, говорит — кайф,
а ему говорят, говорят — марксэнгельс.
Ну, а он говорит, говорит — мой ангел,
а ему говорят, говорят — бл...
Ну, а он говорит, говорит — бл. Августин.
А ему говорят, говорят — стоп!
Ну, а он говорит, говорит — блеф,
а ему говорят, говорят — хлев.
Ну, а он говорит — Христос,
а ему говорят, говорят — видак,
ну, а он говорит, говорит — Давид.
А ему говорят, говорят — Дон Кихот.

Ну, а он говорит, говорит — мельница,
а ему говорят, говорят — крест.
Ну, а он говорит, говорит — круг.
А ему говорят, говорят — хаш,
а ему говорят, говорят — там.
Ну, а он говорит, говорит — шах,
ну, а он говорит, говорит — мат!..
А ему говорят, говорят — прав.
Ну, а он говорит, говорит — Лев.



МАЛЬЧИК СТЕКОЛ

Ни отец, ни мачеха
не приносят столько.
Восьмилетний мальчик,
мойщик стекол,
на углу у Пушкинской
вас без лишних стебов
трет душой опущенной
мальчик стекло.

Тряпка — как пропеллер.
Василек асфальта.
Маленький Рокфеллер.
Наш. Не свалит.
Наглый ангел явочный,
сколько стоишь ты,
бледная пиявочка
нашей чистоты?

Выхлопы токсичные
в легких черным текстом
высветят: «Спасибочко,
.....,
за наше счастливое детство».

Сколько б ни катили вы
с женами и с телками,

сколько б ни отстегивали,
вас настигнет мальчик. Красный
светофор.

Спрея одуванчик
плюнет вам в упор.

Красный отсвет плавает.

И нельзя назад.

Мальчики кровавые
и девочки в глазах.



* * *

Памяти Белки и Стрелки

Эх, Россия!
Все впотьмах.
Пахнет псиной
в небесах.

Мимо марсов, днепрогэсов,
мачт, антенн, фабричных труб
страшным сутником
Прогресса
носится собачий
труп.

1959



КУМИР

Великий хоккеист работает могильщиком.
Ах, водка-матушка,
ищи меня на дне...
Когда он в телевизорах
магичесствовал,
убийства прекращались по стране.

Он был капризный принц
Олимпа и Сабены,
а после тридцати
он так застрессовал
наедине с забвеньем —
не дай вам бог перенести!

Он понял что-то
выше травм и грамот.
Над ямой он обтер
бутылку и батон.
Познал бы истину,
когда б работал Гамлет
сначала Йориком, могильщиком — потом.

«Ляжем — сравниемся», —
он говорил девчатам.

«Ляжем — сравниемся», —
он оборвет меня.

Не в голубой конек —
в глубинную лопату
врезается ступня.

Ляжем — сравниемся —
кумиры и селяне,
ляжем — сравниемся —
народы и леса,
в великой темноте в неназванном сиянье
ляжем — сравниемся.

Там побежденному стал победитель равен,
там, бывшие людьми,
безмолвные глядят —
взгляд клена, взгляд звезды и придорожный
камень.

Потом и камня нет.
Остался только взгляд.

Он погружается, дымя сигаркой в вечность.
Кто не сшибал верхов, тот не познал глубин.
Он погружается
по пояс, грудь, по плечи.
Прямоугольный мрак.
Живой дымок над ним.

Сограждане!
Над ним не надо зубоскалить.
Рублевые цветы воруя с похорон,
надежда падшая
за вас подымет шкалик —
наш падший чемпион.

* * *

Нам, как аппендицит,
поудалили стыд.

Бесстыдство — наш удел.
Мы попираем смерть.
Ну, кто из нас краснел?
Забыли, как краснеть!

Сквозь толщи наших щек
не просочится свет.
Но по ночам — как шов,
заноет — спасу нет!

Я думаю, что Бог
в замену глаз и уш
нам дал мембрану щек,
как осязанье душ.

Горит моя беда,
два органа стыда —
не только для бритья,
не только для битья.

Спускаюсь в чей-то быт,
смутясь, гляжу кругом —
мне гладит щеки стыд
с изнанки утюгом.

Как стыдно, мы молчим.
Как минимум — схохмим.
Мне стыдно писанин,
написанных самим.

Интеллигенция!
Как ты изолгалась,
читаешь Герцена,
для порки заголясь.

Далекий ангел мой,
стыжусь твоей любви
авиаказанной...
Мне стыдно за твои

соленые, что льешь.
Но тыщи раз стыдней,
что не отыщешь слез
на дне души моей.

Смешон мужчина мне
с напухшей тучей глаз.
Постыднее вдвойне,
что это в первый раз.

И черный ручеек
бежит на телефон
за все, за все, что он
имел и не берег.

За все, за все, за все,
что было и ушло,
что сбудется ужо,
и все еще — не все...

В больнице режиссер
чернеет с простыней.
Ладони распростер.
Но тыщи раз стыдней,

что нам глядит в глаза,
как бы чужие мы,
стыдливая краса
хрустальнейшей страны —

застенчивый укор
застенчивых лугов,
застенчивая дрожь
застенчивейших рощ...

1967



НОВОРУССКАЯ РУЛЕТКА

*Розы ужасом примяты.
На морозе речь охрипла.
Игровые автоматы
Озверевшего калибра
На канале Грибоедова
Сбили женщину навывлет...
Золотую, беззаветную
Веру храни, Россия!
Загипсованы живые
Раны под античной лепкой.
Новорусская рулетка.
Власть уходит к гробоведам.
В себе Господа мы предали, —
Автоматы игровые.*



◆

НОТЫ

МЕЛАНХОЛИИ

◆

НОСТАЛЬГИЯ ИЛИ САЛЬВАДОР ДАЛИ ПОДАВАТЬ ДЕННИК...
В. СТАЛИН ГИТЛЕР МОНТО



РОК

Рок надо мною. Куда меня гоните?
По раскладушкам ночью, изгой.
Горе, как погреб,
в любой раскрывается комнате.
Ров подо мною — рок надо мной.

Что я хотел? Чтобы жить, как манило.
Что получилось? Счет гробовой.
Под колыбелью раскрылась могила.
Ров подо мною — рок надо мной.

А в небесах ненасытным уроком
воет душа,
что в сердцах самовольно нажала курок.
Рок над землей, где семья моя, — рок.

Чем я служил в эти светлые годы,
кроме стихов, что попутно изрек?
Я для народа был как бы громоотводом.
Трещит позвоночник. Такой уже рок.



БЕСЕДА В РИМЕ

Я спросил у Папы Римского:

«Вы верите в тарелки?»

Улыбнувшись как нелепости, мне ответил Папа:
«Нет».

И Христос небес касался,
легкий, как дуга троллейбуса,
чтоб стекала к нам энергия,
движа мир две тыщи лет.

В папскую библиотеку
дух Ива́нова наведывался.
И шуршал рукав папирусный. Был по времени
обед.

Где-то к Висле мчались лебеди.

Шла сикстинская побелка.

И на дне реки познания поблескивал стилет.

Пазолини вел на лежбище по Евангелю и Лесбосу.
Боже, где надежда теплится?
Кому вернуть билет?

Бах ослеп от математики,
если только верить Лейбницу.
И сибирской группы «Примус»
римский был эквивалент.

Округлив иллюминаторы,
в виде супницы и хлебницы
проплыла Капелла Паццы, как летающий объект.

В небесах на телеспутнике
 Си-би-эс сражалась с Эй-би-си.
Жили жалко. Жили мелко. Не было идей.
Землю, как такси по вызову,
ждала зеленая тарелка.
Кто-то в ней спросил по рации:
«Вы верите в людей?»



МОНОЛОГ МЕРЛИН МОНРО

Я Мерлин, Мерлин.
Я героиня
самоубийства и героина.
Кому горят мои георгины?
С кем телефоны заговорили?
Кто в костюмерной скрипит лосиной?
Невыносимо,

невыносимо, что не влюбиться,
невыносимо без роц осиновых,
невыносимо самоубийство,
но жить гораздо
невыносимей!

Продажи. Рожи. Шеф ржет, как мерин
(Я помню Мерлин.
Ее глядели автомобили.
На стометровом киноэкране
в библейском небе,
меж звезд обильных,
над степью с крохотными рекламами
дышала Мерлин,
ее любили...

Изнемогают, хотят машины.
Невыносимо),
невыносимо
лицом в сиденьях, пропахших псиной!
Невыносимо, когда насильно,
а добровольно — невыносимей!

Невыносимо прожить, не думая,
невыносимее — углубиться.
Где наша вера? Нас будто сдунули,
существованье — самоубийство,

самоубийство — бороться с дрянью,
самоубийство — мириться с ними,
невыносимо, когда бездарен,
когда талантлив — невыносимей,

мы убиваем себя карьерой,
деньгами, ножками загорелыми,
ведь нам, актерам,
жить не с потомками,
а режиссеры — одни подонки,

мы наших милых в объятьях душим,
но отпечатываются подушки
на юных лицах, как след от шины,
невыносимо,

ах, мамы, мамы, зачем рожают?
Ведь знала мама — меня раздавят,
о кинозвездное оледененье,
нам невозможно уединенье,

в метро,
в троллейбусе,
в магазине
«Приветик, вот вы!» — глядят разини,

невыносимо, когда раздеты
во всех афишах, во всех газетах,
забыв,
что сердце есть посередке,
в тебя завертывают селедки,
лицо измято,
глаза разорваны
(как страшно вспомнить во «Франс-Обсервере»
свой снимок с мордой самоуверенной
на обороте у мертвой Мерлин!).

Орет продюсер, пирог уписывая:
«Вы просто дуся,
ваш лоб — как бисерный!»
А вам известно, чем пахнет бисер?!
Самоубийством!

Самоубийцы — мотоциклисты,
самоубийцы спешат упиться,
от вспышек блицев бледны министры —
самоубийцы,
самоубийцы,
идет всемирная Хиросима,
невыносимо,
невыносимо все ждать,

чтоб грянуло,
а главное —
необъяснимо невыносимо,
ну, просто руки разят бензином!

Невыносимо
горят на синем
твои прощальные апельсины...

Я баба слабая. Я разве слажу?
Уж лучше — сразу!

1963



АНТИМИРЫ

Живет у нас сосед Букашкин,
в кальсонах цвета промокашки.
Но, как воздушные шары,
над ним горят
Антимиры!

И в них магический, как демон,
вселенной правит, возлежит
Антибукашкин, академик,
и щупает Лоллобриджид.

Но грезятся Антибукашкину
виденья цвета промокашки.

Да здравствуют Антимиры!
Фантасты — посреди муры.
Без глупых не было бы умных,
оазисов — без Каракумов.

Нет женщин —
есть антимужчины,
в лесах ревут антимашины.
Есть соль земли. Есть сор земли.
Но сохнет сокол без змеи.

Люблю я критиков моих,
На шее одного из них,
благоуханна и гола
сияет антиголова!..

...Я сплю с окошками открытыми,
а где-то свищет звездопад,
и небоскребы
сталактитами
на брюхе глобуса висят.

И подо мной
вниз головой,
вонзившись вилкой в шар земной,
беспечный, милый мотылек,
живешь ты, мой антимирок!

Зачем среди ночной поры
встречаются антимирры?

Зачем они вдвоем сидят
и в телевизоры глядят?

Им не понять и пары фраз.
Их первый раз — последний раз!

Сидят, забывши про бонтон,
ведь будут мучиться потом!

И уши красные горят,
как будто бабочки сидят.

...Знакомый лектор мне вчера
сказал: «Антимирры? Мура!»

Я сплю, ворочаюсь спросонок.
Наверно, прав научный хмырь...
Мой кот, как радиоприемник,
зеленым глазом ловит мир.

НОЧНОЙ АЭРОПОРТ В НЬЮ-ЙОРКЕ

Автопортрет мой, реторта неона, апостол
небесных ворот —
аэропорт!

Брежат дюралевые витражи,
Точно рентгеновский снимок души.

Как это страшно, когда в тебе небо стоит
в тлеющих трассах
необыкновенных столиц!

Каждые сутки
тебя наполняют, как шлюз,
звездные судьбы
грузчиков, шлюх.

В баре, как ангелы, гаснут твои алкоголики.
Ты им глаголешь!

Ты их, прибитых,
возвышаешь!
Ты им «Прибыть»
возвещаешь!

Ждут кавалеров, судеб, чемоданов, чудес...
Пять «Каравелл»
ослепительно
сядут с небес!

преодоленья
несущих конструкций.

Вместо каменных истуканов
стынет стакан синевы —
без стакана.

Рядом с кассами-теремами
он, точно газ,
антиматериален!

Бруклин — дурак, твердокаменный черт.

Памятник эры —
аэропорт.

1961



ЧУВСТВО

В запахи полыни и эрозии
падал ротный с хрипом на губе.
Эротическое чувство родины
прижимает, милая, к тебе.

И никелированная ересь,
месяцем пошедши на ущерб,
русский эрос — Эресэфэсэрос —
в небе молот скрещивал и серп.

Нержавейка озаряла серость
полосато, вроде лунных зебр.

За границей шепчем, как молитву,
наш нецензурированный словарь.
Дворянин, судимый за Лолиту,
сквозь нее усадьбу целовал.

Что сегодня называем «пошлостью»,
это не свобода сатаны,
это вопли на соборной площади
потерявшей родину страны.

Холода черемух приворотные...
Из чужих, заморских пропастей
эротическое чувство родины
тянет всех в последнюю постель.

ЩИПОК

Андрею Тарковскому

Блатные москворецкие дворы,
не ведали вы, наши Вифлеемы,
что выбивали матери ковры
плетеной олимпийской эмблемой.

Не только за кепарь благодарю
московскую дворовую закваску,
что, вырезав на тополе «люблю»,
мне кожу полоснула безопаской.

Благодарю за сказочный словарь
не Оксфорда, не Массачусетса —
когда при лунном ужасе главарь
на танцы шел со вшивой жемчужиной.

Наломано, Андрей, вселенских дров,
но мы придем —
коль свистнут за подмогой...
Давно заасфальтировали двор
и первое свиданье за помойкой.

1977

СИРЕНЬ

Сирень беременна —
лопнул ремень полисадника.
Сирень беременна —
просела скамейка и набухли грозди.
Он бросил семью и ушел к сирени.

Сирень беременна.
Разводом пахнет.
На плащ твой, на плечи покроя шинели
прилипли две звездочки пятипалые.
Не потеряй их, мичман сирени!

Все озверели. Такое время.
Но после грозы, как свиданья после,
стоят беременные сирени.
И новым смыслом набухли грозди.



* * *

Сыграй мне полонез Огинского!
Дешевки хочется, огнистого.
В пошлятине и дешевизне
есть боль, оплаченная жизнью.

Мсти, мсти, мадмуазель Грушницкая!
За сверхлюдей, за ложь романов,
за полумесяцы брусничные
твоей помады на стаканах.

За всю судьбу нашу вокзальную,
за жить попытку истеричную,
за городок провинциальный,
опохмелившийся «Столичною».

И вдруг прервешь свой визг униженный,
упав на клавиши с локтями.
Такую чистоту увижу я,
глядящую в нас состраданьем!

Сквозь эту исповедь в отеле
вдруг понял я — почему именно
Он свое умершее тело
такой, как ты, доверил вымыть...

Еще, еще одну убили!
Да! — будет Свет, а не группешник.
Да! — не случались, а любили,
Да! — королева, а не пешка.

РУССКАЯ PLAYMATE

Жрите, русские пельмени, соплеменников!
Но по сердцу страшно, если рашпилом,
Пой мне, Маша, первая плеймейт,
made in Russia!

Над страной, бронезиленной и ножовой,
как одежду и надежду, сбросив тело,
плачет голос, абсолютно обнаженный —
голый голос, чистый голос, голос белый!

Здравствуй, племя молодое, незнакомое!
«Абсолюта» дети, телки и плейбои.
Я такой не видел обнаженной
русской боли!

Боль за наши годы беззакония
и за ноту абсолютной боли, что ли...
Закононое, слезою самогонною
плачет небо. Плачет ангел. Плачет поле.

Ты живешь безоблачной небес.
Одеваешься от Кензо, бесишь скептиков.
Но душа предпочитает без
контрасептиков.

ДРУГУ

Скотина наглая!
В душе твоей поганой — пауки,
все чувства человечески плохи —
но малая частица ангела
любит стихи.



Е. В.

Как заклинание псалма,
безумец, по полю несясь,
твердил он подпись из письма:
«Wobulimans» — «Вобюлиманс».

«Родной! Прошло осмнадцать лет,
у нашей дочери — роман.
Сожги мой почерк и пакет.
С нами любовь. Вобюлиманс.
P.S. Не удался пасьянс».

Мелькнет трефовый силуэт
головки с буклями с боков.
И промахнется пистолет.
Вобюлиманс — с нами любовь.

Но жизнь идет наоборот.
Мигает с плахи Емельян.
И все Россия не поймет,
С нами любовь — Вобюлиманс.

1977



РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ПЛЯЖИ

Людмила, в сочельник,
Людмила, Людмила,
в вагоне зажженная елочка пляшет.
Мы выйдем у Взморья.
Оно нелюдимо.
В снегу наши пляжи!
В снегу наше лето.
Боюсь провалиться.
Под снегом шуршат наши тени песчаные.
Как если бы гипсом
криминалисты
следы опечатали.
В снегу наши августы, жар босоножек —
все лажа!
Как жрут англичане огонь и мороженое,
мы бросимся навзничь
на снежные пляжи.
Сто раз хоронили нас мудро и матерно,
мы вас «эпатируем счастьем», мудицы!..
Когда же ты встанешь,
останется вмятина —
в снегу во весь рост
отпечаток
Людмилы.

Людмила,
с тех пор в моей спутанной жизни
звенит пустота —
в форме шеи с плечами,
и две пустоты —
как ладони оттиснуты,
и тянет и тянет, как тяга печная!

С звездой во лбу прибежала ты осенью
в промокшей штормовке.
Вода западала в надбровную оспинку.
(Наверно, песчинка прилипла к формовке.)

Людмила, ау! Я помолвлен с двойняшками.
Не плачь. Не в Путивле.
Как рядом болишь ты,
подушку обмявши,
и тень жалюзи
на тебе,
как тельняшка...

Как будто тебя
от меня ампутировали.



* * *

Когда совсем уж плохо,
я не тревожу Бога,
не открываю Блока —
я ухожу в дорогу.

И озарит из балки
заря необъяснимо
мне след от лыжной палки,
как ломтик апельсина.



* * *

Пусть жизни пролито полчаши,
дай им отпить. Не уходи.
Избавь нас пуще всех печалей,
печаль сердечной глухоты.

Хоть люди не прощают это,
но сердцу зрячему в награду
тебе из пачки сигаретной
сыграют трубочки органа.

В мученьях дней, в печатных ралли
сентиментальной лимиты
избавь нас пуще всех печалей,
печаль сердечной пустоты.



ОЧИСТИ СНЕГ

Очисти, снег, страну, сознание очисти.

Я руку поломал.

Я гипсочеловек.

Очисти, снег,

меня

исповедальной читкой.

Страну очисти,

снег.

Мне непонятно, с кем помолвлена отчизна.

Телеэкран души

зашкален от помех.

В душе идет метель.

Предсвадебный мальчишник.

Все пьяные, как снег.

На клавишах берез, взлетев, сыграем «чижик».

Все — мокрые, как снег,

целуются при всех.

Беспрецедентный снег, ты дух или материя?
или повальный грех?

У родины моей

менталитет метели.

Смертельно люблю снег.

Люблю ногами вверх висящие кальсоны,
в морозе, как собор
из колоколен двух...

Очисти, снег, страну
не конституционно,
а исповедью вслух.

Не трогай, гнев, страну, которой нет беднее.
Не трогай, смех, страну.
К нам падает с небес
мольба объединенья.
Я снегу присягну.

Объедини печаль Борисова-Орехова
и тех, которых нет.
Как я люблю страну,
которая уехала,
и ту, что смотрит этот снег...

Очисти душу, снег, — немедленно, сегодня.
И небо разгипсуй.
Стряхнет снег с проводов
невидимый Сеговья.
Снег абсорбирует абсурд.



ОЗЕРО

Я ночью проснулся. Мне кто-то сказал:
«Мертвое море — священный Байкал».

Я на себе почувствовал взор,
будто я моря убийца и вор.

Когда ты болеешь, все мы больны.
Байкал, ты — хрустальная печень страны!

И кто-то добавил из глубины:
«Байкал — заповедная совесть страны».

Плыл я на лодке краем Байкала.
Вечер посвечивал вполнакала.

Ну неужели наука солгала
над заброшенным взором Байкала?

Надо вывешивать бюллетень,
как себя чувствует омуль, тюлень,

чтобы никто никогда не сказал:
«Мертвое море — священный Байкал».



ПЛОВЕЦ

Дай мне выплыть из бездн. Я забыл тебя, брасс.
Руки-ноги мертвы, бл...дь.
Дай мне, Господи, выплыть единственный раз.
Дай мне выплыть.

Я любил в черной шапочке, как Фантомас,
вздыбить лыжами Припять.
Брасс мой, брат мой,
предавший товарища брасс!
Дай мне выплыть.

Доигрался, «играющий чемпион»?
Рыбки детская киноварь
поумней, чем заносчивый черепок,
дай мне вынырнуть.

Сколько всплыло дерьма!
Ты одна, как луна,
тянешь в жизнь. Неужели
оказалось сильнее притяжение дна
Твоего притяженья?

Что-то стало со мною и со страной?
Жизнь — без выплат...
Изумрудная чайка над тяжелой водой,
дай мне выплыть!

* * *

Был бы я крестным ходом,
я от каждого храма
по городу ежегодно
нес бы пустую раму.

И вызывали б слезы
и попадали б в раму
то святая береза,
то реки панорама.

Вбежала бы в позолоту
женщина, со свиданья
опаздывающая на работу,
не знающая, что святая.

Левая сторона улицы
видела б святую правую.
А та, в золотой оправе,
глядя на нее, плакала бы.

1980



ПРОЩАНИЕ С МИКРОФОНОМ

Театр отдался балдежу.
Толпа ломает стены.
Но я со сцены ухожу.
Я ухожу со сцены.

Я, микрофонный человек,
я вам пою век целый.
Меня зовут — XX век.
Я ухожу со сцены.

Со мной уходят города
и стереосистемы,
грех опыта цвета стыда,
науки «нота бена»,
и одиночества орда —
вы все уходите туда —
и в микрофонные года
уходит сцена.

На ней и в годы духоты
сквозило переменой.
Вожди вопили: «Уходи!»
Я выходил на сцену.

Я не был для нее рожден.
Необъяснима логика.
Но дышит рядом стадион,
как выносные легкие.

Мы на единственной в стране
площадке без цензуры
смысл музыки влагали в не-
цензурные мишуры.

Звучит сейчас везде она.
Пой, птица, без решеток!
Скучна
мне сцена разрешенных.

К тебе приду еще не раз —
уткнусь в твои колена.
Нам невозможно жить без нас!
Я ухожу со сцены.

Люблю твоих конструкций ржу,
как лапы у сирены.
Но я со сценой ухожу,
я ухожу со сценой.

Мчим к голографий рубежу.
Там сцены нет, что ценно.
Но я со сценой ухожу,
я ухожу со сценой.

Благодарю, что жизнь дала,
и обняла со всеми,
и посадила на крыла.
Они зовутся Время.

Но в новых снах, где ночь и Бог,
мне будет сцена сниться —
как с черной точкою желток,
который станет птицей.



ОТВЕТ НА ЗАПИСКУ

Все пишут — я перестаю.
О Сталине, Высоцком, о Байкале,
Гребенщикове и Шагале
писал, когда не разрешали.

Я не хочу «попасть в струю».



* * *

Ревет судилища орда.
Я прокаженным был, казалось.
И только женщина одна
Подошла, не отказалась.

Бреду меж темени, и луж,
и черепов, как Верещагин.
Но женщина, как желтый луч,
мою дорогу освещает.



МОНОЛОГ АКТЕРА

Провала прошу, провала.
Гаси ж!
Чтоб публика бушевала
и рвала в клочки кассирш.

Чтоб трусиками, в примерочной
меня перематюгав,
зареванная премьерша
гуляла бы по щекам!

Мне негодование дорого.
Пусть в рожу бы мне исторг
все сгнившие помидоры
восторженный Овощторг!

Да здравствует неудача!
Мне из ночных глубин
открылось — что вам не маячило.
Я это в себе убил.

Как школьница после аборта,
пустой и притихший весь,
люблю тоскою аортовой
мою нерожденную вещь.

Прости меня, жизнь.
Мы — гости,
где хлеб, и то не у всех,
когда земле твоей горестно,
позорно иметь успех.



ВИРТУАЛЬНАЯ КЛАВИАТУРА

По его Ноте мы настраивали свою жизнь.

Отпевали Рихтера в небесном его жилище на 16-м этаже на Бронной. Он лежал головой к двум роялям с нотами Шуберта, и на них, как на живых, были надеты серебряные цепочки и образки. Его похудевшее, помолодевшее лицо обретало отсвет гипса, на сером галстуке горели радужные прожилки в стиле раннего Кандинского. Лежали смуглые руки с золотым отливом. Когда он играл, он закидывал голову вверх, подобно породистому догу, прикрывал глаза, будто вдыхал звуки. Теперь он смежил веки не играя. И молодой рыжий портрет глядел со стены.

Помню его еще на пастернаковских застольях. Сквозь атлетического юношу уже просвечивала мраморная статуарность. Но не античная, а Родена. Он был младше других великих застольцев — и хозяина, и Нейгауза, и Асмуса, но уже тогда было ясно, что он гений. Его гениальность казалась естественной, как размер ботинок или костюма. Рядом всегда была Нина Львовна, грациозно-графичная, как черные кружева.

Когда Пастернак предложил мне проводить Анну Андреевну Ахматову, я, сделав вид, что замешкался, уступил эту честь Славе. Сейчас они там встретятся.

Отпевавший его батюшка, в миру скрипач Ведерников, сказал точно и тонко: «Он был над нами». Вечерело. В открытые балконные двери были видны кремлевские соборы и Никитский бульвар. Он парил над ними. «Господи, — пела пятерка певчих канонические слова заупокойной службы, — Тебе Славу воссылаем...» Впервые эти слова звучали буквально.

Когда-то я написал ему стихи. Сейчас они звучат по-иному.

Береза по сердцу кольнула,
она была от слез слепа —
как белая клавиатура,
поставленная на попа.

Ее печаль казалась тайной.
Ее никто не понимал.
К ней ангелом горизонтальным
полночный Рихтер прилетал.

Какая Нота донесется до нас с его новых, иных, виртуальных клавиатур?

Дай Бог, чтобы он не сразу нас забыл...

Случилось так, что именно в редакции «Вагриуса» узнал я о кончине Рихтера. Я додиктовывал на компьютер последние страницы этой книги.

Позвонил телефон и сообщил мне скорбную весть. Я вышел в соседнюю комнату. Там собралось почти все издательство. Шло чаепитие. Я сказал, что умер Рихтер. Не чокаясь, помянули.

Каким-то сквозняком повеяло. Будто ночную дверь отворили.

**ПИКАССО
КАМЮ
ШАГАЛ
ШОСТАКОВИЧ
ИВАНОВ
АНДРОНИКОВ
ЛИВАНОВ
ЖУРАВЛЕВ
АХМАТОВА
АСМУС
ПАСТЕРНАК
НЕЙГАУЗ
Р
И
Х
Т
Е
Р**

**ДОРЛИАК
АНТОНОВА
АШКЕНАЗИ
АРХИПОВА
БАШМЕТ
ВАСИЛЬЕВ
ГУТМАН
ДОЛУХАНОВА
ЕФРЕМОВ
ЖУРАВЛЕВА
КРАЙНЕВ
ПИСАРЕНКО
РОСТРОПОВИЧ
ТЕМИРКАНОВ
ШОСТАКОВИЧ**

Потом, уже стоя у гроба, я явственно чувствовал присутствие иных фигур между живыми, будто по его мостику они спустились к нам из иных измерений. Так живое присутствие Пастернака в ней куда реальнее, чем многих кажущихся живыми.

Память живет в нас не хронологически. Вне нас — тем более. В этой книге я пытаюсь записать ход воспоминаний так, как они толпятся в сознании, перемежаясь с событиями сегодняшними и будущими.

Через пару лет наш век отдаст Богу душу. Душа отправится на небо.

И Господь спросит: «Что ты творило, русское XX столетие? Убивало миллионы своих, воровало, разрушало страну и храмы?»

«Да, — вздохнет сопровождающий ангел и добавит: — Но одновременно эти несчастные беззащитные люди, русские интеллигенты, создавали святых ХХ века, подобно тому, как прежние века создавали свои. И как создали они МХАТ, Музей изящных искусств, полотна Врубеля и Кандинского, ритуал поэтических чтений, ставших национальной культурой России?..»

И череда фигур потянется, озаренная двояким светом.

ПОЖАР В АРХИТЕКТУРНОМ ИНСТИТУТЕ

Пожар в Архитектурном!
По залам, чертежам,
амнистией по тюрьмам —
пожар! Пожар!

По сонному фасаду
бесстыже, озорно
гориллой
краснозадою
взвывается окно!

А мы уже дипломники,
нам защищать пора.
Трещат в шкафу под пломбами
мои выговора!

Ватман — как подраненный,
красный листопад.
Горят мои подрамники,
города горят.

Бутылью керосиновой
взвилось пять лет и зим...
Кариночка Красильникова,
ой! Горим!

Прощай, архитектура!
Пылайте широко,
коровники в амурах,
райкомы в рококо!

О юность, феникс, дурочка,
весь в пламени диплом!
Ты машешь красной юбочкой
и дразнишь язычком.

Прощай, пора окраин!
Жизнь — смена пепелищ,
Мы все перегораем.
Живешь — горишь.

А завтра, в палец чиркнувши,
вонзится злей пчелы
иглочка от циркуля
из горсточки золы...

...Все выгорело начисто.
Милиции полно.
Все — кончено?
Все — начато!
Айда в кино!

1957



ПОЮТ НЕГРЫ

Мы —
тамтамы гомеричные с глазами горемычными,
клубимся, как дымы, — мы...

Вы —
белы, как холодильники, как марля карантинная,
безжизненно мертвы —
вы...

О чем мы поем вам?

О
руках ваших из воска, как белая известка,
о, как впечатались
 между плечей печальных,
о, наших жен печальных,
 как их позорно жгло — о-о!

«Н-но!» —
нас лупят, точно клячу, мы чаевые кланчим,
на рингах и на рынках у нас в глазах темно,
но,
когда ночами спим мы, мерцают наши спины,
как звездное окно.

В нас,
боксерах, гладиаторах, как в черных радиаторах
или в пруду карась,

созвездья отражаются
торжественно и жалостно —
Медведица и Марс —
в нас...

Мы — негры, мы — поэты,
в нас плещутся планеты.

Когда нас бьют ногами —
пинают небосвод.
У вас под сапогами
Вселенная орет!

1961



НЬЮ-ЙОРКСКИЕ ЗНАЧКИ

Блещут бляхи, бляхи, бляхи,
возглашая матом благим:

«Люди — предки обезьян»,

«Губернатор — лесбиян»,

«Непечатное — в печать!»,

«Запретите запрещать!»

«Бог живет на улице Пастера, 18.

Вход со двора».

Обожаю Гринич-Вилидж

в саркастических значках.

Это кто мохнатый вылез,

как мошна в ночных очках?

Это Ален, Ален, Ален!

Над смертельным карнавалом,

Ален, выскочи в исподнем!

Бог — ирония сегодня.

Как библейский афоризм

гениальное «Вались!».

Хулиганы? Хулиганы.

Лучше сунуть пальцы в рот,

чем закиснуть куликами

буржуазовых болот!

Бляхи по местам филейным,
коллективным Вифлеемом
в мыле давят трепака —
«мини» около пупка.

Это Селма, Селма, Селма
агитирующей шельмой
подмигнула и — во двор:
«Мэйк лав, нот уор».

Бог и ирония сегодня.
Блещут бляхи над зевотой.
Тем страшнее, чем смешней,
и для пули — как мишень!

«Бог переехал на проспект Мира, 43. 2 звонка».

И над хиппи, над потопом
ироническим циклопом
блещет Время, как значком,
округлившимся зрачком!

*Ах, Время,
сумею ли я прочитать, что написано
в твоих очах,
мчащихся на меня,
увеличиваясь, как фары?
Успею ли оценить твою хохму?..
Ах, осень в осиновых кружочках...*

Ах, восемь
подброшенных тарелочек жонглера,
мгновенно замерших в воздухе,

будто жирафа убежала,
а пятна от нее
остались...

Удаляется жирафа
в бляхах, будто мухомор,
на спине у ней шарахнуто:
«Мэйк лав, нот уор!»

1968



ПОП-ПЕВЕЦ

Мы, вампиры,
предпочитаем коммунальные квартиры.

Ваши стоматологи сидят в ампирах —
беда вампирам...

Я — вампир. Но не в смысле переливания крови.
Не боюсь креста, чеснока и пр.
Я подзаряжаюсь вашей любовью.
Вампир.

У меня есть тайное место за Онегою,
или Кожеозерский монастырь.
Князь там перед битвой подзаряжался энергией.
Вампир?

Вот почему женщины, мной покинутые,
чувствуют вакуум и упадок сил.
Сволочь посвежевшая, иду по Киевской.
Я — вампир.

Но это называется победой пирровой.
Когда выходите на стадион —
он вас коллективным вампиром
высасывает, как лимон.

И люди заряжаются вашей жизнью,
живут ею месяцы, становятся добрей.
Разъезжаются с нею в Орлы и Жиздры
и вам присылают своих дочерей.

Господи, чем мы тебя обидели?
Как сладко и страшно устроен мир.
А вампиры сосут родителей.
И всех высасывает земля-вампир.

Ты вошла в гостиницу, зубки пилкой,
был в утренних объятьях застенчивый укор —
вампирка! —
последнее, что помню — в горло укол.

Теперь пролетаю, как демон мщенья.
Где ты? Но поздно — тебя я полюбил.
В квартирах отключается освещение.
И женщины чувствуют прилив сил.



ФРАГМЕНТ АВТОПОРТРЕТА

Я нищая падаль. Я пища для морга.
Мне душно, как джинну в бутылке
прогорклой,
как в тьме позвоночника костному мозгу!

В камерке моей, как в гробнице промозглой,
Арахна свивает свою паутину.
Моя дольче вита пропахла помойкой.

Я слышу — об стену журчит мочевина.
Угрюмый гигант из священного шланга
мой дом подмывает. Он пьян, очевидно.

Полно во дворе человеческого шлака,
Дерьмо каменеет, как главы соборные.
Избыток дерьма в этом мире, однако.

Я вам не общественная уборная!
Горд вашим доверьем. Но я же не урна...
Судьба моя скромная и убогая.

Теперь опишу мою внешность с природы,
Ужасен мой лик, бороденка — как щетка.
Зубарики пляшут, как клавиатура.

К тому же я глохну. А в глотке щекотно!
Паук заселил мое левое ухо,
а в правом сверчок верещит, как трещотка.

Мой голос жужжит, как под склянкою муха.
Из нижнего горла, архангельски гулкая,
не вырвется fuga плененного духа.

Где синие очи? Пovýцвели буркалы.
Но если серьезно — я рад, что горюю,
я рад, что одет, как воронее пугало.

Большая беда вытесняет меньшую.
Чем горше, тем слаще становится участь.
Сейчас оплеуха милей поцелуя.

Дешев парадокс — но я радуюсь, мучась.
Верней, нахожу наслажденье в печали.
В отчаянной доле есть ряд преимуществ.

Пусть пуст кошелек мой. Какие детали!
Зато в мочевом пузыре, как монеты,
три камня торжественно забренчали.

Мои мадригалы, мои триолеты
послужат оберткой в бакалее
и станут бумагою туалетной.

Зачем ты, художник, парил в эмпиреях,
к иным поколениям взвивал свой треножник?!
Все прах и тщета. В нищете околею.
Таков твой итог, досточтимый художник.

1979



ЛЮМПЕН-ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ

Опять надстройка рождает базис.
Лифтер бормочет во сне Гельвеция.
Интеллигенция обуржуазилась.
Родилась люмпен-интеллигенция.

Есть в русском «люмпен» от слова «любят».
Как выбивались в инженера,
из инженеров выходит в люди
их бородатая детвора.

Их в институты не пустит гордость.
Там сатана правит бал тебе.
На место дворника гигантский конкурс —
музы носятся на метле!..

Двадцатилетняя, уже кормящая,
как та княгинюшка на Руси,
русская женщина новой формации
из аспиранток ушла в такси.

Ты едешь бледная — «люминесценция»! —
по темным улицам совсем одна.
Спасибо, люмпен-интеллигенция,
что можешь счетчик открыть с нуля!

Не надо думать, что ты без сердца.
Когда проедешь свой бывший дом,
две кнопки, вдавленные над дверцами,
в волненье выпрыгнут молодым...

Тебя приветствуют, как кровники,
ангелы утренней чистоты.
Из академиков выходят в дворники —
кому-то надо страну мести!

1978



ПРОЩАНИЕ С ПОЛИТЕХНИЧЕСКИМ

Большой аудитории посвящаю

В Политехнический!
В Политехнический!
По снегу фары шипят яичницей.
Милиционеры свистят панически.
Кому там хнычется?!
В Политехнический!
Ура, студенческая шарага!
А ну, шарахни
по совмещанам свои затрещины!
Как нам мещане мешали встретиться!
Ура вам, дура
в серьгах-будильниках!
Ваш рот, как дуло,
разинут бдительно.
Ваш стул трещит от перегрева.
Умойтесь! Туалет — налево.
Ура, галерка! Как шашлыки,
дымятся джемперы, пиджаки.
Тысячерукий как бог языческий
Твое Величество —

Политехнический!

Ура, эстрада! Но гасят бра.
И что-то траурно звучит «Ура».

12 скоро. Пора уматывать.
Как ваши лица струятся матово.
В них проступают, как сквозь экраны,
все ваши радости, досады, раны.

Вы, третья с краю,
с копной на лбу,
я вас не знаю.

Я вас — люблю!

Чему смеетесь? над чем всплакнете?
и что черкнете, косясь, в блокнотик?

что с вами, синий свитерок?
в глазах тревожный ветерок...

Придут другие — еще лиричнее,
но это будут не вы —
другие.

Мои ботинки черны, как гири.
Мы расстаемся, Политехнический!

Нам жить не долго. Суть не в овациях.
Мы растворяемся в людских количествах
в твоих просторах,
Политехнический.

Невыносимо нам расставаться.

Ты на кого-то меня сменяешь,
но, понимаешь,
пообещай мне, не будь чудовищем,
забудь

со стоящим!

* * *

Б. Ахмадулиной

Нас много. Нас может быть четверо.
Несемся в машине как черти.
Оранжеволоса шоферша.
И куртка по локоть — для форса.

Ах, Белка, лихач катастрофный,
нездешняя ангел на вид,
люблю твой фарфоровый профиль,
как белая лампа горит!

В аду в сковородки долдонят
и вышлют к воротам патруль,
когда на предельном спидометре
ты куришь, отбросивши руль.

Люблю, когда, выжав педаль,
хрустально, как тексты в хорале,
ты скажешь: «Какая печаль!
Права у меня отобрали...

Понимаешь, пришили превышение
скорости в возбужденном состоянии.
А шла я вроде нормально...»
Не порть себе, Белочка, печень.
Сержант наш, конечно, мудрей.

Но нет твоей скорости певчей
в коробке его скоростей.

Обязанности поэта
нестись, позабыв про — ОРУД.
Брать звуки со скоростью света,
как ангелы в небе поют.

Жми, Белка, божественный кореш,
И пусть не собрать нам костей.
Да здравствует певчая скорость,
убийственнойшая из скоростей!

Что нам впереди предначертано?!..
Нас мало. Нас может быть четверо.
Мы мчимся — а ты божество!
И все-таки нас большинство.



* * *

Сладким ротиком от халвы,
нежно щечки надувши, как сахарница,
удивленно ответили Вы:
«Ну кто сейчас трахается?!»

В окнах лезут авто на авто.
Голубица от страсти отряхивается.
Одеваясь, сказали: «Ну кто
сейчас не трахается?!»



ДЕРЕВЯННЫЙ ЗАЛ

Я люблю в Консерватории
не Большой, а Малый зал.
Словно скрипку первосортную,
его мастер создавал.

И когда смычок касается
его певчих древесин,
Паганини и Касальсы
не соперничают с ним.

Он касается Истории,
так что слезы по лицу.
Липы спиленные стонут
по Садовому кольцу.

Сколько стона заготовили...
Не перестраивайте вы
Малый зал Консерватории —
скрипку скрытую Москвы.

Деревянные сопрано
венских стульев без гвоздей.
Этот зал имеет право
хлопать посреди частей.

Белой байковой прокладкой
скутан пол и потолок —
исторической прохладой,
чтобы голос не продрог.

Когда сердце сиротою,
не для суетных смотрин
в малый сруб Консерватории
приходить люблю один.

Он еще дороже вроде бы,
что ему грозит пожар —
деревянной малой родине.
Обожаю Малый зал.

Его зрители — студенты
с гениальностью в очах
и презрительным брезентом
на непризнанных плечах.

Пресвятая профессура
исчезающей Москвы
нос от сбившейся цезуры
морщит, как от мошкары.

В этом схожесть с братством ложи
я до дрожи узнавал.
Боже,
как люблю я Малый зал!

Даже не консерваторская,
а молитвенная тишь...
В шелковой косовороточке
тайной свечкой ты стоишь.

Облак над Консерваторией
золотым пронзен лучом —
как видение Егоря
не с копьём, но со смычком.



ЗАЛ ЧАЙКОВСКОГО

В Зале Чайковского лгать не удастся.
Синие кресла срываются с круга —
белой полоскою, как адидасы.
Здесь тренируется Сборная духа.

Люди поэзии, каждую осень
Мы собираемся в Зале Чайковского.
В черных колечках пикируют осы
К девочке в стрижечке мальчуковой.

Государство раздело интеллигенцию
почти догола, точно в Древней Греции
Климат не тот. Холодает резко.
В плюшевых креслах согреем чресла...

Сытый толкает тележку с провизией,
родине нищей сочувствие выразив.
Цензоры с визгом клянут телевизоры,
не вылезая из телевизоров.

Зал этот строился для Мейерхольда.
Сборная духа пошла под дуло.
Нынче игра в обстановочке холода,
Не проиграй ее, Сборная духа.



ПАРА-ШУТ

- Как живете, старый шут нового типа?
- Спасибо.

У народа зуд, зуд:

- С кем живете, шут, шут?
- С Макаревичем ел суп!
- Яйцо красит в перламутр...
- Башню Татлина ввернут тебе в попку, как шуруп.
- Строишь виллу у Бермуд — с каких ссуд?!

А народы ждут, ждут
миллион зеленых роз...

Я надену белый suit.

Я надену красный нос.

- Ишь, хохмит над беспределом.

Мы — в дерьме, а он весь в белом?!.

Парашют освоил он.

Шут летит над Азиопой

к Богу обращен лицом,

а к народу — пышной сдобой?!

- Чертик в колбе!

— «Самел» вреден по Минздраву —
Перейдем на анашу.

Вместо маски карнавала
ваше зеркало ношу.

А кругом — пьяный снег
Параноев ковчег.
Ржет порнокопытный век.
Стой! Ноги вверх!

С неба сеет
нонпарель.
Кто Есенин?
ПараЛель...

Глазки, милая, открой.
Бег с Тобою? Шут с Тобой!

Есть ли что срамней души?
Есть ли что смешней рубля?
Соревнуются шуты
примерять колпак Кремля.

Если скажешь суть, суть —
тебе скажут: «Шут, шут!»

Клоун, он всегда alone,
хоть толпою избалован.
Одинок.
На прострелянных баллонах
дует с горки ледяной.

— У виска кручу палец с ухмылкой
не за тем, чтоб дразнить дурака.
Просто я зажимаю дырку
от пробитого пулей виска.

ПИР

Человек явился в лес,
всем принес деликатес:

лягушонку
дал сгущенку,

дал ежу,
что — не скажу,

а единственному волку
дал охотничью водку,

налил окуню в пруды
мандариновой воды.

Звери вежливо ответили:
«Мы еды твоей отведали.
Чтоб такое есть и пить,
надо человеком быть.
Что ж мы попусту сидим,
хочешь, мы тебя съедим?»

Человек сказал в ответ:

«Нет.

Мне ужасно неудобно,
но я очень несъедобный.
Я пропитан алкоголем,
аллохолом, аспирином.

Вы меня видали голым?
Я от язвы оперируем.

Я глотаю утром водку,
следом тассовскую сводку,
две тарелки, две газеты,
две магнитные кассеты,
и коллегу по работе,
и два яблока в компоте,
опыленных ДДТ,
и т.д.

Плюс сидит в печенках враг,
курит импортный табак.
В час четыре сигареты.
Это убивает в день
сорок тысяч лошадей.

Вы хотите никотин?»
Все сказали: «Не хотим,
жаль тебя. Ты — вредный, скушный:
если хочешь — ты нас кушай».
Человек не рассердился
и, подумав, согласился.

1975



* * *

Фиалки — твои филиалы.
Фиалки внутри тебя.
Я вечером их поливаю,
на клумбу пересажая.

Как скомканный плащик нейлона,
тревожней, чем Фалька этуод,
в твоём уголке потаенном,
рыдая, фиалки цветут.

Вишнево коричневые губы
таят корневища. Хранят
чернику вкусившие зубы
фиалковый аромат.

Стреляют. Рыгает филин.
Поливщик, пою сады.
Фиалки — не некрофилки,
алкают живой воды.

Я пил из Господней пиалы.
Упав на колени во тьму,
с твоих несмышленных фиалок
счастливые слезы сниму.

МУСАТОВСКАЯ СИРЕНЬ

Вопрошал меня Саратов
по приезде в первый день:
«Как вам нравится Мусатов?»
Я сказал: «Люблю сирень!»

Жил в Саратове бессребреник,
живописец из мещан —
в безутешные сирени
своих женщин превращал.

Разве импрессионисты
открывали пуантель?
В крестик вышитые кисти
или Афанасий Шмель.

И махровая усадьба,
словно белая сирень,
в палисаднике Мусатова
сохранилась по сей день.

Словно речь по телефону,
вопрошающий нехрим.
С Виктором Эльпидифорычем
через грозди говорим.

Озаренные озера.
Все простившая страна,
околдованная взором
голубого горбуна.

Где ни едешь — смотрит в форточку —
поломай, кому не лень! —
Виктора Эльпидифорыча
гобеленная сирень.



СЕКС-КОНТРЫ

Оцепление оцепенело.
Толпа голых на Маяковке.
Партия сексуальных контрреволюционеров
проводит первую маевку.

Фасоны развратны и лицемерны.
Нудисты бреют козла.
Сексуальные контрреволюционеры
идут в чем Родина родила.

Сексуальные Робеспьеры,
бросьте эксы! В свету реклам
сексуальные контрреволюционеры
превращают в барышень дам.

«Купите бабушкин кекс!
И екатерининский секс!
Вы чемпион. Но экс...»

И гекз —
аметры слышны в речах:
На Джоконде усы Сервантеса.
Превративши нули в рули,
наши новые консерваторы
стоят на древнего Дали.

И ты, сексуальная контрреволюционерка,
выйдешь в сад, от измен устав, —
где жасмин расцвел, как галлюцинация,
как белый рояль в кустах.

Все меньше тебя волнует концепт,
все больше Первый концерт,
вдыхаешь сирень, как поэт К.Р. —
сексуальный контрреволюционер.

«Мы идем вперед задом, сменив знамена.
Отключай электричество, познанья свеча!
Молодежь подхватывает традиционное
знамя Ильича.
Петра Ильича».



* * *

Люб мне Маяковский-Командор,
гневная Цветаева — Медуза,
мускусный Кузмин и молодой
Заболоцкий — гинеколог музы.

Но едва спадает битвы жар
или лай особенно несносен,
Державина громоздкий дирижабль
меня с чугунной легкостью уносит.



* * *

Сон.
В наш ЖЭК
вошли Брук
и Джек
Никольсон.
Ни брюк. Ни кальсон.
Ни ног. Ни рук.
Лишь две души.
Поглядели на бюст с никелированным лицом.
И ушли.
Сон.
Но я потрясен.



Я — MONEY

Фирма —
маниманиманимани — *нема* —
вложи в дома! —
неманиманиманимани-Манэ, 4 Мани,
мы в романе! —
маниманиманимани — *нема* —
тюрьма — из-за дерьма? —
маниманияманияМММанияманияманиямани —
я — манияманимани —
НЕМА



ХОР НИМФ

Я 41-я на Плисецкую,
26-я на пледы чешские,
30-я на Таганку,
35-я на Ваганьково,
кто на Мадонну — запись на Морвокзале,
а Вы с ребенком, тут не стояли!
Кто был девятой, станет десятой,
Борисова станет Мусатовой,
я 16-я к главному,
75-я на Глазунова,
110-я на аборт
(придет очередь — подработаю),
26-я на фестивали,
а Вы с ребенком, тут не стояли!
47-я на автодетали
(меня родили — и записали),
я уже 1000-я на автомобили
(меня записали — потом родили),
что дают? кому давать?
А еще мать!
Я 45-я за тридцать пятью,
а Вы с ребенком, чего тут пялитесь?
Кто на Мадонну — отметка в 10-ть.
А Вы с ребенком — и не надейтесь!
Не вы, а я — 1-я на среду,
а Вы — первая куда следует...
(Продолжение следует)

* * *

Тихо-тихо. Слышно точно,
как текут секунды дней.
Струйкой тихою песочка
пересыпается цепочка
на шее дышащей твоей...

* * *

С тобой богатыми мы были!
Качались в наших чердаках
лучи, окутанные пылью,
как будто в золотых чулках.



НЕ ЗАБУДЬ

Человек надел трусы
майку синей полосы,
джинсы белые, как снег,
надевает человек.

Человек надел пиджак,
на него нагрудный знак
под названием «ГТО».
Сверху он надел пальто.

На него, стряхнувши пыль,
он надел автомобиль.

Сверху он надел гараж
(тесноватый — но как раз!),
сверху он надел наш двор,
как ремень надел забор,
сверху наш микрорайон,
область надевает он.

Опоясался как рыцарь
государственной границей.

И, качая головой,
надевает шар земной.

Черный космос натянул,
крепко звезды застегнул,
Млечный Путь — через плечо,
сверху — кое-что еще...

Человек глядит вокруг. Вдруг —
у созвездия Весы
вспомнил, что забыл часы.

(Где-то тикают они
позабытые, одни?..)

Человек снимает страны,
и моря, и океаны,
и машину, и пальто.
Он без времени — ничто.

Он стоит в одних трусах,
держит часики в руках.
На балконе он стоит
и прохожим говорит:
«По утрам, надев трусы,
НЕ ЗАБУДЬТЕ ПРО ЧАСЫ!»



ШЛО УБИЙСТВО

Шло убийство по шумной Битце,
шло, жуя пирожок незло.

Вы заказывали убийство?

Шло убийство. Убийство шло
сериалами голубыми.

В наших креслах от них светло.

Мы пришли по телам любимых
в эти кресла. Убийство шло.

Обожаю твой труп улыбочатый
и фасон а la НЛО.

К твоим карим идет убийство!

Верней, шло.

Войду в дом убиенный. Charming!

Никого. Дом усоп.

Я пощупаю лоб у чайника.

Он еще теплый, лоб.

Что сердечко твое измаяло —

кровь, любовь или страсть раскола?

«Катерина Измайлова» —

это «Манон» Лескова.

В нас мозги пожирают печень.

Певчий дар проклевал нутро.

В семьях праведных и беспечных,

словно газ из незримой печи,

что-то шло
из щелей. Потянуло кайфом.
Сын снял мать с гвоздя, как тулуп.
И любовник, выпав из шкафа,
оправдывается: «Я — труп!»

Вы заказывали клубничку?
Почему идем в шоубизнес?
Почему у нас трупные лица?
Почему мы *туда* хотим?
Даже повесть о самоубийце
называем: «Митин интим».

Шло счастливое наше детство.
Сквозь рыдания взрослых драм
мчался вспухнувший от младенцев
цилиндрический Иордан.

Как влюбленный в Леннона киллер,
запредельная страсть таится.
Пожалейте детишек хилых!
Они — маленькие убийцы.

Жизнь — природы интеллигенция.
Возвращенье к истокам шло,
возврат гения, извращенца,
во всеобщее большинство...

Я живу. Боюсь углубиться.
Я не знаю — кого? за что? —
но я знаю — идет убийство.
Вернее, шло.

ЭФИРНЫЕ СТАНСЫ

*(написанные во время пребывания
в телеящике с К. Кедровым)*

Мы сидим в прямом эфире.
Мы для вас, как на корриде.
Мы сейчас в любой квартире —
говорите, говорите.

Кто-то в нос, как гайморит,
что я заразен, говорит.
У кого что болит,
тот о том и говорит.

Вянем, уши растопыря,
в фосфорическом свету,
словно бабочки в эфире
или в баночке, в спирту,

Костя, не противься бреду.
Их беде пособлезнуй.
В брани критиков (по Фрейду) —
их итории болезни.
У кого что болит,
тот о том и говорит.

Вся Россия в эйфории.
Митингуют поварахи.
Говорящие вороны.
Гуси с шеей Нефертити.
Мы за всех приговоренные
отвечать здесь. Говорите.

Я виновен, что Отечество
у разбитого корыта.
Если этим вы утешитесь —
говорите, говорите.

Где-то в жизни аварийной
стриженная, как мальчиш,
милая периферия,
дышишь в трубку и молчишь

Не за облаком, не в Фивах,
философствуя извне,
мы сидим в прямом эфире,
мы живем в прямом дерьме.

Мы живем не так, чтоб сытно.
Нет бензина. Есть «низ неб».
Костя, Костя, друг мой ситный:
кушаем никоваХлеб.

Я, наверно, первый в мире
из поэтов разных шкал,
кто стихи в прямом эфире
на подначку написал.

Иль под взглядами Эсфири,
раньше всех наших начал,
так Христос в прямом эфире
фарисеям отвечал.

Ночь сознания. Как помирим
эту истину и Ту?..

Станем мыслящим эфиром,
пролетая темноту.

Ночь 21/22 июня 1993 г.



ЛАСТОЧКИ

На май обрушились метели.
Проснулся — ласточек полно.
Две горных ласточки влетели
в мое окно. Мое окно
они открыли, леденя —
небесно-бедственная весть!
Теперь сидят на батарее,
высокомерничают есть,
бесстыдничают в оперенье,
в них что-то есть. Какая спесь!

Пошли по моим книгам зыркать,
искать жемчужное зерно.
К их ключикам-малокозыркам
явилась третья сквозь окно.
Она, как чьи-то мысли дальние,
часами может замирать.
На лоб оконочный спадает
крыло ненужное, как прядь.

Я выпустил три синих тома.
И вот сигнал, что кто-то их
там прочитал в мирах бездомных
и мне отправил три своих.
Чем отдарю я дар твой тихий
и это счастье повидать,

как треугольные пловчихи —
из угла в угол и опять, —
сто верст пытаюсь налетать,
перекрестили красотой
мой дом, как синее письмо!

Шуршат их крылышки в кроссовках,
как бог Гермес. И все синее!..
О небесах напоминанье
они встречали не без зла.
А может, мы не понимаем,
что значат наши небеса?

Пока они не улетели,
я щелкал с них фотоэтид.
Я улетел через неделю.
В квартире ласточки живут.



ГОЛУБОЙ ЗАЛ КРЕМЛЯ

Я впервые был в Кремле. Как родители радовались — меня в Кремль позвали! На двух предыдущих встречах с Хрущевым я не присутствовал — мы с В. Некрасовым и К. Паустовским были по приглашению во Франции, я там еще остался для выступлений. Все было впервые тогда: стотысячные заявки читателей на поэтические сборники, рождение журнала «Юность», съемки необычного вешнего хуциевского фильма, первый вечер русского поэта в парижском театре и накануне первый в истории вечер поэзии в Лужниках — все было впервые после сталинских казарм. Мы связывали это с Хрущевым. Ростки гласности бесили аппарат. Уже по официозной прессе тех дней было понятно, кого будут прорабатывать на кремлевской встрече, — в «Известиях», что редактировал яркий и всесильный зять Хрущева, появилась статья «Турист с тросточкой», с которой началась травля В. Некрасова, вытолкнувшая его затем в эмиграцию, и подвал Ермилова против Эренбурга.

В той же газете появилось открытое письмо главного редактора, обличающее мои стихи в «Юности». Думаю, что игрок Аджубей просто не мог поступить иначе.

К постоянной ругани в прессе мы привыкли. Я считал, что Хрущева обманывают и что ему нужно все объяснить. Он оставался нашей надеждой.

Чем Хрущев отличался от Сталина? Не политически, а эстетически.

Сталин был сакральным шоумейкером эры печати и радио. Он не являлся публике. Хрущев же был шоуменом эпохи ТВ, визуальной эры. Один башмак в ООН чего стоит! Не ведая сам, он был учеником сюрреалистов, их хеппинингов.

Хрущев восхищает меня как стилист.

И когда глава Державы сделал вид, что вдруг проснулся и странным высоким толстяковским голосом потребовал меня на трибуну, я бодро взял микрофон. Повторяю, он был еще нашей надеждой тогда, и я шел рассказать ему как на духу о положении в литературе, надеясь, что он все поймет.

Но едва я, волнуясь, начал выступление, как меня сзади из президиума кто-то стал перебивать. Я не обернулся и продолжал говорить. За спиной раздался микрофонный рев: «Господин Вознесенский!» Я попросил не прерывать и пытался продолжать говорить. «Господин Вознесенский, — взревело, — вон из нашей страны, вон!»

Услышав поток брани за спиной — «Господин Вознесенский, вон из страны!» — я не понял, кто это заорал. Не Хрущев же! Повторяю, я, как и все мои друзья, тогда еще идеализировал Хрущева. Когда же зал, главным образом номенклатурный, с вкраплениями интеллигенции, заплодировал этому реву, заскандировал: «Позор! Вон из страны!» (по отношению ко мне, конечно), — я счел зал своим главным врагом и надеялся побороть его по стадионной привычке. Не тут-то было! Я продолжал бубнить по тексту. И вдруг, оглянувшись, увидел неменяемого, волящего Премьера. В голове пронеслось: «Да опомнитесь же! Неужели этот припадочный правит страной?! Он же ничего не сечет». Я обернулся к залу, ища понимания. В лицо орали перекошенные. Осталась последняя надежда — вдруг стихи смогут образумить это ревущее стадо. Но Кремль — не Лужники. Ишь, прынец нашелся...

Вот «взгляд со стороны», запись по стенограмме из ар-

хива ЦК КПСС, конечно, приглашенной, отредактированной от ненормативной лексики:

«Н.С. ХРУЩЕВ: Почему вы афишируете, что вы не член партии?! «Я не член партии» — вызов дает! Сотрем всех на пути, кто стоит против Коммунистической партии, сотрем!

Вы скажете, что я зажимаю. Я — Секретарь, Председатель. Прежде всего я — гражданин Советского Союза, я боец и буду бороться против всякой нечисти. Мы создали свободные условия не для пропаганды антисоветчины. Мы никогда не дадим врагам воли, никогда! Ишь ты какой — «я не член партии!». Он нам хочет какую-то партию беспартийных создать. Нет, вы член партии, только не той партии... Товарищи, идет борьба, борьба историческая, здесь либерализму нет места, господин Вознесенский!.. То, что Ванда Львовна сказала, — это вы сказали. Это клевета на партию! Для таких будут жестокие морозы... Мы не те, которые были в клубе Петефи, а мы те, которые помогли венграм разгромить эту банду... Ваши дела говорят об антипартийщине, антисоветщине. Вы говорите ложь!..

ВОЗНЕСЕНСКИЙ: Нет, не ложь!

Х.: Молоко еще не обсохло. Ишь какой. Он поучать будет. Обожди еще!

Мы предложили Пастернаку, чтобы он уехал. Хотите, завтра получите паспорт, уезжайте к чертовой бабушке, поезжайте туда, к своим.

В.: Я русский поэт. Зачем мне уезжать?

Х.: Ишь ты какие! Думаете, что Сталин умер... Мы хотим знать, кто с нами, кто против нас. Никакой оттепели: или лето, или мороз... Партия не дает вам права на молодость и всегда будет бороться, чтобы она, партия, представляла старое и молодое поколение. И больше никто. Только одно сейчас — ваша скромность, скромность, если вы не перестанете думать, что родились гением.

В.: Я так не думаю.

Х.: Вы думаете. Вам вскружил голову талант, ну как же, родился принц, все леса шумят. Вы считаете, как только родились, то сразу руку подняли, хотите указать путь че-

ловечеству. Не хотите с нами в ногу идти, получайте паспорт и уходите. В тюрьму мы вас сажать не будем, но если вам нравится Запад — граница открыта. Вы по своим стреляете...»

«За что?! Или он рехнулся? Может, пьян?» — пронеслось в голове. (Такое с ним случилось однажды, когда он, сняв туфлю, стучал ею в ООН.) Только привычка ко всякому во время выступлений, видно, удержала меня в рассудке. Из зала, теперь уж из-за моей спины, нарастал мощный скандеж: «Долой! Позор!»

А он продолжал вопить, но уже тоном ниже, видимо выпустив пар: «Вы на что руку подымаете? Вы на что руку подымаете? Вы что, нам путь рукой указываете? Вы думаете, вы вождь?»

И тут, бранясь, он, видимо, назвал залу или машинально назвал вдруг меня «товарищ Вознесенский». А может быть, за несколько минут чтения он вынужден был помолчать и тут понял, что перебрал?

Взмокший вождь с досадой нацепил свою маску и процедил: «Работайте». Я понял, что пока я спасен, а зал пока не выиграл.

Так или иначе, впервые в истории *в лицо* русскому поэту была публично брошена угроза быть выгнанным из страны. Думаю, на моей судьбе случайно поставлена точка в традиционных отношениях «Поэт и Царь». Дальше судьбы поэзии и власти пошли параллельно, не пересекаясь. И слава Богу! Как будто кого-то сейчас интересует, что думает власть о поэзии.

◆

Без рифм

◆



ВОЛЬНООТПУЩЕННИК ВРЕМЕНИ

Вольноотпущенник Времени возмущает
его рабов.

Лауреат Сталинской премии на десять годов
ввел формулу Тяжести Времени.

Мир к этому не готов.

Его оппонент в полемике выпрыгнул из своих
зубов.

Вольноотпущенник Времени восхищает его рабов.

Был день моего рождения. Чувствовалась духота.
Ночные персты сирени, протягиваясь с куста,
губкою в винном укусе освежали наши уста.

Отец мой небесный, Время, испытывал
на любовь.

Созвездье Быка горело. С низин подымался рев —
в деревне в хлеву от ящюра живьем сжигали коров.

Отец мой небесный, Время, безумен
Твой часослов!

На неподъемных веках стояли гири часов.
Пьяное это из темени кричало, ища коробок,
что Мария опять беременна, а мир опять не готов...

Вольноотпущенник Времени вербует ему рабов.

ПАРИЖ БЕЗ РИФМ

Париж скребут. Париж парадят.
Бьют пескоструйным аппаратом.
Матрон эпохи рококо
продраивает душ Шарко!

И я изрек: «Как это нужно —
содрать с предметов слой наружный,
увидеть мир без оболочек,
порочных схем и стен барочных!..»

Я был пророчески смешон,
но наш патрон, мадам Ланшон,
сказала: «О-ля-ля, мой друг!..»

И вдруг —
город преобразился,
стены исчезли, вернее, стали прозрачными,
над улицами, как связки цветных шаров,
висели комнаты,
каждая освещалась по-разному,
внутри, как виноградные косточки,
горели фигуры и кровати,
вещи сбросили панцири, обложки, оболочки,
над столом
коричнево изгибался чай, сохраняя форму
чайника,

и так же, сохраняя форму водопроводной
трубы,
по потолку бежала круглая серебряная вода,
в соборе Парижской Богоматери шла месса,
как сквозь аквариум,
просвечивали люстры и красные кардиналы,
архитектура испарилась,
и только круглый витраж розетки
почему-то парил над площадью, как знак:
«Проезд запрещен»,
над Лувром из постаментов,
как 16 матрасных пружин,
дрожали каркасы статуй,
пружины были во всем,
все тикало,
о Париж,
мир паутинок, антенн и оголенных
проволочек,
как ты дрожишь,
как тикаешь мотором гоночным,
о сердце под лиловой пленочкой,
Париж
(на месте грудного кармашка, вертикальная,
как рыбка,
плыла бритва фирмы «Жиллет»)!

Париж, как ты раним, Париж,
под скорлупою ироничности,
под откровенностью, граничащей
с незащищенностью.
Париж,

в Париже вы одни всегда,
хоть никогда не в одиночестве,
и в смехе грусть,
как в вишне косточка,
Париж — горящая вода,

Париж,
как ты наоборотен,
как бел твой Булонский лес,
он юн, как купальщицы,
бежали розовые собаки,
они смущенно обнюхивались,
они могли перелиться одна в другую,
как шарики ртути,
и некто, голый, как змея,
промолвил: «Чернобурка я»,
шли люди,
на месте отвинченных черепов,
как птицы в проволочных
клетках,
свистали мысли.

Монахиню смущали мохнатые мужские
видения,
президент мужского клуба потрясался
разоблачениями
(его тайная связь с женой раскрыта,
он опозорен),
над полисменом ножки реяли,
как нимб, в серебряной тарелке
плыл шницель над певцом мансард,
в башке ОАСа оголтелой

дымился Сартр на сковородке,
а Сартр,
наш милый Сартр,
задумчив, как кузнечик кроткий,
жевал травиночку коктейля,
всех этих таинств

мудрый дух
в соломинку,
как стеклодув,
он выдул эти фонари,
весь полый город изнутри,
и ратуши и бюшери,
как радужные пузыри!

Я тормошу его:
«Мой Сартр,
мой сад, от зим не застекленный,
зачем с такой незащищенностью
шары мгновенные
летят?

Как страшно все обнажено,
на волоске от ссадин страшных,
их даже воздух жжет, как рашпиль,
Мой Сартр!
Вдруг все обречено?!»
Молчит кузнечик на листке
с безумной мукой на лице.

Било три...

Мы с Ольгой сидели в «Обалделой лошади»,
в зубах джазиста изгибался звук в форме
саксофона,
женщина усмехнулась.
«Стриптиз так стриптиз». —
сказала женщина,
и она стала сдирать с себя не платье, нет, —
кожу!

как снимают чулки или трикотажные
тренировочные костюмы.

— О! о! —
последнее, что я помню, это белки,
бесстрастно-белые, как изоляторы,
на страшном, орущем, огненном лице...

«...Мой друг, растает ваш глянсе...»

Париж. Друзья. Сомкнулись стены.
А за окном летят в веках
мотоциклисты
в белых шлемах,
как дьяволы в ночных горшках.

1963



СТАРЫЙ ГОРОД

Давай с тобой зашторим створки
в монастыре «Шести сестер».
Крестообразною отверткой
застыл костел.

В саду не тронуты конверты.
Не дует. Не летит пыльца.
Антверпен полон антиветром.
Мысль не выветривается.

И сад, недвижимый, как и прежде,
слепыми слепками белел.
Их пустотелые одежды
хранили очертанья тел.

Обучимся обыкновенью
жить внутренне, не напоказ
в остановившемся мгновенье
неважно до иль после нас.

Чей зрячий посох ищет руку?
О чем тоскует трансвестит?
Антропософская разлука
в нас раковиною гудит.

* * *

Тьма ежей любого роста
мне иголками грозила.
Я на дух надел наперсток.
Жмет, конечно. Но красиво.



ЧЕРНЫЕ ПРОСТЫНИ

Покупайте черные простыни,
анархисты любви!

В постмалевичевском постере
белокурую прядь продери.

Замаячат в окошке над площадью
черноплодные фонари.

Экономьте рубашки нижние.

Оптимизм — цвета пропасти.

Конкурируя с чернокожием,
расстилайте черные простыни.

Не поняв, назовут тебя
проституткой советские дилетанты.

Улетай, полуночная профи
непроглядного дельтаплана!

А вы спали на Постистории?

Вообще, вы летали? На противне
подгорали ль орешки? Попробуйте
засыпать на открытом люке
меж созвездий разлуки...

Пред квадратной Малевича тайной
современница выпалит:

«Почему он квадратный?»

Потому что двуспальный!
Односпальный — параллелепипед...»

Плыть по-черному. Жить без просыпа.
Пока гости не облевали,
выставляйте черные простыни
на Венецианской Бьеннале.



ПОРТРЕТ ПЛИСЕЦКОЙ

В ее имени слышится плеск аплодисментов.
Она рифмуется с плакучими лиственницами,
с персидской сиренью,
Елисейскими полями, с Пришествием.
Есть полюса географические, температурные,
магнитные.

Плисецкая — полюс магии.

Она ввинчивает зал в неистовую воронку
своих тридцати двух фуэте,
своего темперамента, ворожит,
закручивает: не отпускает.

Есть балерины тишины, балерины-снежины —
они тают. Эта же какая-то адская искра.

Она гибнет — полпланеты спалит!

Даже тишина ее — бешеная, орущая тишина
ожидания, активно напряженная тишина
между молнией и громовым ударом.

Плисецкая — Цветаева балета.

Ее ритм крут, взрывен.

Жила-была девочка — Майя ли, Марина ли —
не в этом суть.

Диковатость ее с детства была пуглива
и уже пугала. Проглядывалась сила
предопределенности ее. Ее кормят манной

кашей, молочной лапшой, до боли
затягивают в косички, втискивают первые
буквы в косые клетки; серебряная монетка,
которой она играет, блеснув ребрышком,
закатывается под пыльное брюхо буфета.
А ее уже мучит дар ее — неясный самой
себе, но нешуточный.

«Что же мне делать, певцу и первенцу,
В мире, где наичернейший сер!
Где вдохновенье хранят, как в термосе!
С этой безмерностью в мире мер?!»

Мне кажется, декорации «Раймонды»,
этот душный, паточный реквизит,
тяжеловесность постановки кого хочешь
разъярит. Так одиноко отчаян ее танец.
Изумление гения среди ординарности —
это ключ к каждой ее партии.
Крутая кровь закручивает ее. Это
не обычная эоловая фея —

«Другие — с очами и с личиком светлым,
А я-то ночами беседую с ветром.
Не с тем — италийским
Зефиром младым, —
С хорошим, с широким,
Российским, сквозным!»

Впервые в балерине прорвалось нечто —
не салонно-жеманное, а бабье, нутряной

воплъ.

В «Кармен» она впервые ступила
на полную ступню.

Не на цыпочках пуантов, а сильно,
плотски, человечьи.

«Полон стакан. Пуст стакан.
Гомон гитарный, луна и грязь.
Вправо и влево качнулся стан...
Князем — цыган. Цыганом — князь!»
Ей не хватает огня в этом половинчатом
мире.

«Жить приучил в самом огне.
Сам бросил в степь заледенелую!
Вот что ты, милый, сделал мне.
Мой милый, что тебя я сделала?»

Так любит она.
В ней нет полумер, шепотка, компромиссов.
Лукав ее ответ зарубежной корреспондентке.
— Что вы ненавидите больше всего?
— Лапшу! —

И здесь не только зареванная обида детства.
Как у художника, у нее все нешуточное.
Ну да; конечно, самое отвратное —
это лапша,
это символ стандартности,
разваренной бесхребетности, пошлости,
склоненности, антидуховности.
Не о «лапше» ли говорит она в своих
записках:

«Люди должны отстаивать свои
убеждения...
... только силой своего духовного «я».
Не уважает лапшу Майя Плисецкая!
Она мастер.

«Я знаю, что Венера — дело рук,
Ремесленник — я знаю ремесло!»

Балет рифмуется с полетом.
Есть сверхзвуковые полеты.
Взбешенная энергия мастера — преодоление
рамок тела, когда мускульное движение
переходит в духовное.

Кто-то договорился до излишнего
«техницизма»

Плисецкой,
до ухода ее «в форму».

Формалисты — те, кто не владеет
формой. Поэтому форма так заботит их,
вызывает зависть в другом. Вечные зубрилы,
они пыhtят над единственной рифмишкой
своей, потеют в своих двенадцати фуэте.

Плисецкая, как и поэт, щедра, перенасыщена
мастерством. Она не раб формы.

«Я не принадлежу к тем людям, которые
видят за густыми лаврами успеха девяносто
пять процентов труда и пять процентов
таланта».

Это полемично.

Я знал одного стихотворца, который брался
за пять человеко-лет обучить любого
стать поэтом.

А за десять человеко-лет — Пушкин?
Себя он не обучил.

Мы забыли слова «дар», «гениальность»,
«озарение». Без них искусство — ноль.

Как показали опыты Колмогорова,
не программируется искусство, не выводятся
два чувства поэзии. Таланты
не выращиваются квадратно-гнездовым
способом. Они рождаются. Они национальные
богатства — как залежи радия, сентябрь
в Сигулде или целебный источник.
Такое чудо, национальное богатство —
линия Плисецкой.

Искусство — всегда преодоление барьеров.
Человек хочет выразить себя иначе,
чем предопределено природой.
Почему люди рвутся в стратосферу? Что,
дел на Земле мало?
Преодолевается барьер тяготения. Это
естественное преодоление естества.
Духовный путь человека — выработка,
рождение нового органа чувств, повторяю,
чувства чуда. Это называется искусством.
Начало его в преодолении извечного способа
выражения.

Все ходят вертикально, но нет, человек
стремится к горизонтальному полету.
Зал стонет, когда летит тридцатиградусный
торс... Стравинский режет глаз
цветастостью. Скрябин пробовал цвета на слух.
Рихтер, как слепец, зажмурясь и втягивая
ноздрыми, нащупывает цвет клавишами.
Ухо становится органом зрения. Живопись
ищет трехмерность и движение на статичном
холсте.

Танец — не только преодоление тяжести.
Балет — преодоление барьера звука.
Язык — орган звука? Голос? Да нет же;
это поют руки и плечи, щебечут пальцы,
сообщая нечто высочайше важное,
для чего звук груб.
Кожа мыслит и обретает выражение.
Песня без слов? Музыка без звуков.
В «Ромео» есть мгновение,
когда произнесенная тишина, отомкнувшись
от губ юноши, плывет, как воздушный шар,
невидимая, но осязаемая,
к пальцам Джульетты.
Та принимает этот
материализовавшийся звук, как вазу,
в ладони, ощупывает пальцами.
Звук, воспринимаемый осязанием! В этом
балет адекватен любви.
Когда разговаривают предплечья, думают
голени, ладони автономно сообщают друг
другу что-то без посредников.
Государство звука оккупировано движением.
Мы видим звук. Звук — линия.
Сообщение — фигура.

Параллель с Цветаевой не случайна.
Как чувствует Плисецкая стихи!
Помню ее в черном на кушетке,
как бы оттолкнувшуюся от слушателей.
Она сидит вполоборота, склонившись, как
царскосельский изгиб с кувшином. Глаза ее
выключены. Она слушает шей. Модильянистой

своей шеей, линией позвоночника, кожей слушает. Серьга дрожит, как дрожат ноздри. Она любит Тулуз-Лотрека.

Летний настрой и отдых дают ей библейские сбросы Севана и Армении, костер, шашлычный дымок. Припорхнула к ней как-то посланница элегантного журнала узнать о рационе «примы».

Ах, эти эфирные эльфы, эфемерные сильфиды всех эпох! «Мой пеньюар состоит из одной капли шанели». «Обед балерины — лепесток розы»...

Ответ Плисецкой громоподобен и гомеричен. Так отвечают художники и олимпийцы. «Сижу не жрамши!»

Мощь под стать Маяковскому. Какая издевательская полемичность. Я познакомился с ней в доме, где все говорит о Маяковском. На стенах ухмылялся в квадратах автопортрет Маяковского. Женщина в сером всплескивала руками. Она говорила о руках в балете. Пересказывать не буду. Руки метались и плескались под потолком, одни руки. Ноги, торс были только вазочкой для этих обнаженно плескавшихся стеблей. В этот дом приходиться опасно. Вечное командорское присутствие Маяковского сплющивает ординарность. Не всякий выдерживает такое соседство.

Майя выдерживает. Она самая современная из наших балерин.

Это балерина ритмов XX века. Ей не среди лебедей танцевать, а среди автомашин и лебедек! Я ее вижу на фоне чистых линий Генри Мура и капеллы Роншан.

«Гений чистой красоты» — среди издерганного суматошного мира.

Красота очищает мир.

Отсюда планетарность ее славы.

Париж, Лондон, Нью-Йорк выстраивались в очередь за красотой, за билетами на Плисецкую.

Как и обычно, мир ошеломляет художник, ошеломивший свою страну.

Дело не только в балете. Красота спасает мир. Художник, создавая прекрасное, преображает мир, создавая очищающую красоту. Она ошеломительно понятна на Кубе и в Париже. Ее абрис схож с летящими египетскими контурами.

Да и зовут ее кратко, как нашу сверстницу в колготках, и громоподобно, как богиню или языческую жрицу, — Майя.

«Что делать страшной красоте, присевшей на скамью сирени!»



Б. ПАСТЕРНАК

Недоказуем постулат.
Пасть по-плисецки на колени,
когда она в «Анне Карениной»,
закутана в плиссе-гофре,
в гордынь Кардена и Картье,
в самоубийственном смиренье
лиловым пеплом на костре
пред чудищем узкоколейным
о смертном молит колесе?

Художник — даже на коленях —
победоноснее, чем все.

Валитесь в ноги красоте.

Обезоруживает гений —
как безоружно каратэ.

1966



ИСПОВЕДЬ «СЫРИХИ»

— Почему ты рыдаешь, «сыриха
со слезой»?

— Чай, со сцены влетела соринка.
Мисс Успех — это я, дорогой.

Я тебе расскажу о «сырихе».
Так актрисы поклонниц зовут.
Мы загадываем, как ассирийки,
судьбы их сокровенных минут.

Все продажно — в душе и в ширинке.
Бескорыстно лишь в нашем бреду
абсолютное сердце «сырихи»,
что колотится в темном ряду.

Кто в кармашек почтового ящика
сунул ландыш лесной?
Кем Мадонна была кормящая —
не сырихой ли со слезой?

Мы звезду заряжаем из кресел
у соперников на виду.
Ну, а скурвится если —
отхлестаем букетом звезду.



На презентации своей книги «Ностальгия по настоящему»
с Татьяной Яковлевой. Нью-Йорк, 1978 г.



С Ненси Рейган. Переделкино, 1993 г.



Рисунок А. Вознесенского.



МИНЗДРАВ

ПРЕДУПРЕЖДАЕТ



AR-93

КУРИТЬ - ЗДОРОВЬЮ ВРЕДИТЬ



В «мертвом» лесу, 1995 г.



С Борисом Гребенчиковым, 1998 г.



С издателем Ингой Фильтринелли



С Бобом Диланом в Переделкино



С Бобом Раушенбергом - отцом поп-арта.
В его мастерской.



С Б.Ахмадулиной и балериной У.Лопаткиной. Москва, Большой театр, 1998 г.



С М.Ростроповичем, З.Богуславской, М.Плисецкой, Р.Щедриным.
На исполнении «Поэтории» А.Вознесенского, г. Владимир, 1972 г.



Пасхальная эсталяция. Авторский проект.
Москва, ул. Неждановой, 1990 г.





В эротическом сиром галопе
у подъездов, меж рыхлой пурги,
я и мужа нашла на галерке.
С ним играли в четыре руки.

И когда замолкает Рихтер.
Зал затих. И выходит фальцет.
Мы тогда начинаем, «сырихи»,
для ладоней коронный концерт.

Чтоб в ладошке, как запятая,
тайный свет полминуты не гас...
Вы такого не испытали?
Жаль мне вас.

Тайна тайна. И тихо тихо.
На галерке напряжена
затаившеюся рысикой
театральная тишина.

Гениальная женщина зала,
утомленная уровнем цен,
по дыханию понимала
гениальную женщину сцен.

Абсолютна минута немая
двух сердец, когда выключен свет, —
понимание, пониманье...
В жизни смысла иного нет.

И единственная награда —
тайный взгляд, недоступный для лож,
от которого темному ряду
передается волшебная дрожь.

Тайный знак изможденному сердцу,
слаще кайфа на тысячу лет,
по которому следует в среду
так же взять на контроле билет...

Нас на улице, как любовниц,
не узнают, смущенье скрыв...
Трепещите, омоновцы!
«Сырихи» идут на прорыв.

Друг продаст. Позабудет родина.
Понимания на найду.
Но «сырихино» сердце сиротино
заколотится в темном ряду.



НЕБА БЫ...

В магазин зашел: «Алло!
Дайте неба полкило».

Продавцов сказали двое:
«С небом перебои.
Нету черного, ночного,
белого нет, облачного,
ни розового, ни голубого,
ни серого — ну никакого,
нету неба бородинского!..»
«Тоже мне — князь Андрей».
«Гражданин, не надо диспутов!
Не толпитесь у дверей».

«Дома глазки голубые
Ждут, чтоб неба им добыли.
Если неба не давать —
они будут затухать.
Опусти, небена мать».

Продавщица ответила: «Сочувствую.
Вместо хлеба нам насущного
отпустить могу вам смога.
Но немного».

«Мне хотя бы без изюма,
И без звезд.
Я ее люблю безумно!
Разрешите встану в хвост».

«Ваши бы заботы мне бы...
В мировой голубизне
строить общество без неба
нелегко в одной стране.
В Марксе нет социализма.
Вода кончилась в воде.
Бензина самоубийце
нету. Неба нет нигде.
А в авоське — как кроссворд.
Угадай, из чего торт?»

«Нашенским без неба — финиш.
Даже в тюрьме
пайки синенькие видишь
четвертушками в окне.
Мне хотя бы ломтик надо,
чтобы глазки зацвели.
Мне сказали, из Канады
тонну неба завезли».

Продавец сказал любезно:
«Страна наша безнебесна.
Где работаешь, debil?
Сам ты небо задымил».

Человек ушел без неба
в безнебесные места.
У моста слепые требуют:
«Подайте неба, ради Христа».

* * *

Читаю небо, став душою зорче.
«Я + Ты» — написано окрест.
Окончив труд, неграмотные зодчие
ставили в небе крест.

«Ястреб + облако» — написано над местностью.
Гора + город. Даль + даль.
+ золотая неизвестность,
+ просветленная печаль.

А к вечеру Луна + Солнце,
подчеркнутые линией хлебов.
«Я + Ты» — стоит над горизонтом.
«Небо + Я = любовь».



СКРЫМТЫМНЫМ

«Скрытымным» — это пляшут омичи?
скрип темниц? или крик о помощи?
или у Судьбы есть псевдоним,
темная ухмылочка — скрытымным?

Скрытымным — то, что между нами.
То, что было раньше, вскрыв, темним.
«Ты-мы-вы...» — с закрытыми глазами
в счастье стонет женщина: скрытымным.

Скрытымным — языков праматерь.
Глупо верить разуму, глупо спорить с ним.
Планы прогнозируем по сопромату,
но часто не учитываем скрытымным.

«Как вы поживаете?» — «Скрытымным...»
«Скрытымным!» — «Слушаюсь. Выполним».
Скрытымным — это не силлабика.
Лермонтов поэтому непереводим
Лучшая Марина зарыта в Елабуге.
Где ее могила? — скрытымным...

А пока пляшите, пьяны в дым:
«Шагадам, магадам, скрытымным!»
Но не забывайте — рухнул Рим,
не поняв приветствия: «Скрытымным».

1970

Я не сомневаюсь, что поэзия Вознесенского первая прорвется к читателю XXI века. Не к будущему, а к настоящему обращено каждое его слово. «Ностальгия по настоящему» — открытие Вознесенского. Никто никогда не будет так любить сегодняшнего читателя, как любит он.

К. Кедров.

СОН

Я шел по берегу Оби,
я селезню шел параллельно.
Я шел по берегу любви.
И вслед деревья мне ревели.

И параллельно плачу рек,
лишенных лаянья собачьего,
финально шел XX век,
крестами ставни заколачивая.

И в городах и хуторах
стояли Инги и Устиньи,
их жизни, словно вурдалак,
слепая высосет пустыня.

Кричала рыба из глубин:
«Возьми детей моих в котомку,
но только реку не губи!
Оставь хоть струйку для потомства».

Я шел меж сосен голубых,
фотографируя их лица,
как жертву, прежде чем убить,
фотографирует убийца.

Стояли русские леса,
чуть-чуть подрагивая телом.
Они глядели мне в глаза,
как человек перед расстрелом.

Дубы глядели на закат.
Ни Микеланджело, ни Фидий,
никто их краше не создаст.
Никто их больше не увидит.

«Окстись, убивец-человек!» —
кричали мне, кто были живы.
Через мгновение их всех
погубят ядерные взрывы.

«Окстись, палач зверей и птиц,
развившаяся обезьяна!
Природы гениальный смысл
уничтожаешь ты бездарно»

И я не мог найти Тебя
среди абсурдного пространства,
и я не мог найти себя,
не находил, как ни старался.

Я понял, что не будет лет,
не будет века двадцать первого,
что времени отныне нет.
Оно на полуслове прервано...

Земля пустела, как орех.
И кто-то в небе пел про это:
«Червь, человечек, короед,
какую ты сожрал планету!»

БАЛЛАДА

Я сегодня приду и спокойно скажу,
что двадцатый окончился век.
Свои книги сожгу, твои платья сложу,
«Мы свободны, — скажу, — смена вех».

Отключится вода, и включится звезда,
и забьешься ты в пляске своей.
Частым жабрам под стать будут воздух хватать
треугольники жадных локтей.

Посреди темноты заскользит, словно шрам,
след резинки над животом. Я увижу, что ты —
пополам, пополам — в этом веке и веке другом.

Обернусь я к гостям — гости все пополам,
перерезаны в пояс столом.
Каждый в веке своем мы по пояс живем,
под столом — в измеренье другом.

«Разве был этот век?» — ты ответишь под смех.
Современники дискотек будут в пол нам стучать
и напомнят опять, что бессмертен XX век.

1980

АПЕЛЬСИНЫ, АПЕЛЬСИНЫ...

Нью-йоркский отель «Челси» — антибуржуазный, наверное, самый несуразный отель в мире. Он похож на огромный вокзал десятых годов, с чугунными решетками галерей — даже, кажется, угольной гарью пахнет. Впрочем, может, это тянет сладковатым запретным дымком из комнат.

Здесь умер от белой горячки Дилан Томас. Лидер рок-группы «Секс пистолс» здесь или зарезал, или был зарезан своей любовницей. Здесь вечно ломаются лифты, здесь мало челяди и бытовых удобств, но именно за это здесь платят деньги. Это стиль жизни целого общественного слоя людей, озабоченных социальным переустройством мира, носящих полувоенные сумки через плечо и швейцарские офицерские крестовые красные перочинные ножи. Здесь квартирует Вива, модель Энди Уорхола, подарившая мне, испугавшемуся СПИДа, спрей, чтобы обрызгать унитаза и ванную.

За телефонным коммутатором сидит хозяин Стенли Барт, похожий на затурканного дилетанта-скрипача не от мира сего. Он по рассеянности вечно подключает вас к неземным цивилизациям.

В лифте поднимаются к себе режиссеры подпольного кино, звезды протеста, бритый под ноль бакуинец в мотоциклетной куртке, мулатки в брюках из золотого позумента и пиджаках, надетых на голое тело. На их пальцах зажигаются изумруды, будто незанятые такси.

Обитатели отеля помнили мою историю.

Для них это была история поэта, его мгновенной сла-

вы. Он приехал из медвежьей снежной страны, разоренной войной и строительством социализма.

Сюда приехал он на выступления. Известный драматург, уехав на месяц, поселил его в своем трехкомнатном номере в «Челси». Крохотная прихожая вела в огромную гостиную с полом, застеленным серым войлоком. Далее следовала спальня.

Началась мода на него. Международный город закатывал ему приемы, первая дама страны приглашала на чай, посещала его концерты. Звезда андеграунда, режиссер Ширли Кларк, затеяла документальный фильм о его жизни. У него кружилась голова.

Эта европейка была одним из доказательств его головокружения.

Она была фоторепортером. Порвав с буржуазной средой отца, австрийского лесовика, она стала люмпеном левой элиты, круга Кастро и Кортасара. Магниевая вспышка подчеркивала ее близость к иным стихиям. Она была звезда, стройна, иронична, остра на язык, по-западному одновременно энергична и беззаботна. Она влетала в судьбы, как маленький солнечный смерч восторженной и восторгающей энергии, заряжая напряжением не нашего поля. «Бабочка-буря», — мог бы повторить про нее поэт.

Едва она вбежала в мое повествование, как по страницам закружились солнечные зайчики, слова заволновались, замелькали. Быстрые и маленькие пальчики, забежав сзади, зажали мне глаза.

— Бабочка-буря! — безошибочно завопил я.

Это был небесный роман. Взяв командировку в журнале, она прилетала на его выступления в любой край света. Хотя он и подозревал, что она не всегда пользуется услугами самолетов. Когда в сентябре из-за гроз аэропорт был закрыт, она как-то ухитрилась прилететь и полдня сушилась.

Ее черная беспечная стрижка была удобна для аэродро-

мов, раскосый взгляд вечно щурился от непостижимого света, скулы лукаво напоминали, что гунны действительно доходили до Европы. Ее тонкий нос и нервные, как бусинки, раздутые ноздри говорили о таланте капризном и безрассудном, а чуть припухлые губы придавали лицу озадаченное выражение. Она носила шикарно скроенные одежды из дешевых тканей. Ей шел оранжевый. Он звал ее подпольной кличкой Апельсин.

Для его суровой снежной страны апельсины были ввозной диковиной. Кроме того, в апельсинном горьком запахе ему чудилась какая-то катастрофа, срыв в ее жизни, о котором она не говорила и от которого забывалась с ним. Он не давал ей расплачиваться, комплексуя со всей валютой.

Не зная языка, что она понимала в его славянских стихах? Но она чуяла за иступленностью исполнения прорывы судьбы, за его романтическими эскападами, провинциальной неотесанностью и развязностью поп-звезды ей чудилась птица иного полета.

В тот день он получил первый аванс за книгу. «Прибарахлюсь, — тоскливо думал он, возвращаясь в отель. — Куплю тачку. Домой гостинцев привезу».

В отеле его ждала телеграмма: «Прилетаю ночью тчк апельсин». У него бешено заколотилось сердце. Он лег на диван, дремал. Потом пошел во фруктовую лавку, которых много вокруг «Челси». Там при вас выжимали соки из моркови, репы, апельсинов, манго — новая блажь большого города. Буйвологлазый бармен прессовал апельсины.

— Мне надо с собой апельсинов.

— Сколько? — презрительно промычал буйвол.

— Четыре тыщи.

На Западе продающие ничему не удивляются. В лавке оказалось полторы тысячи. Он зашел еще в две.

Плавные негры в ковбойках, отдуваясь, возили в тележках тяжкие картонные ящики к лифту. Подымали на десятый этаж. Постояльцы «Челси», вздохнув, невозмутимо смекнули, что совершается выгодная фруктовая сделка. Он отключил телефон и заперся.

Она приехала в десять вечера. С мокрой от дождя голо-

вой, в черном клеенчатом проливном плаще. Она жмурилась.

Он открыл ей со спутанной прической, в расстегнутой, полузаправленной рубаше. По его растерянному виду она поняла, что она не вовремя. Ее лицо сразу осунулось. Сразу стала видна паутинка усталости после полета. У него кто-то есть! Она сейчас же развернется и уйдет.

Его сердце колотилось. Сдерживаясь изо всех сил, он глухо и безразлично сказал:

— Проходи в комнату. Я сейчас. Не зажигай света — замыкание.

И замешкался с ее вещами в полутемном предбаннике.

Ах так! Она еще не знала, что сейчас сделает, но чувствовала, что это будет что-то страшное. Она сейчас сразу все обнаружит. Она с размаху отворила дверь в комнату. Она споткнулась. Она остолбенела.

Пол пылал.

Темная пустынная комната была снизу озарена сплошным раскаленным булыжником пола.

Пол горел у нее под ногами. Она решила, что рехнулась. Она поплыла.

Четыре тысячи апельсинов были плотно уложены один к одному, как огненная мостовая. Из некоторых вырывались языки пламени. В центре подпрыгивал одинокий стул, будто ему поджаривали зад и жгли ноги. Потолок плыл алыми кругами.

С перехваченным дыханием он глядел из-за ее плеча. Он сам не ожидал такого. Он и сам словно забыл, как четыре часа на карачках укладывал эти чертовы скользкие апельсины, как через каждые двадцать укладывал шаровую свечку из оранжевого воска, как на одной ноге, теряя равновесие, длинной лучиной, чтобы не раздавить их, зажигал свечи. Пламя озаряло пупырчатые верхушки, будто они и вправду раскалились. А может, это уже горели апельсины? И все они оранжево орали о тебе.

Они плясали в твоём обалденном черном проливном плаще, пощечинами горели на щеках, отражались в слезах

ужаса и раскаянья, в твоей пошатнувшейся жизни. Ты горюшь с головы до ног. Тебя надо тушить из шланга!

Мы горим, милая, мы горим! У тебя в жизни не было и не будет такого. Через пять, десять, через пятнадцать лет ты так же зажмуришь глаза — и под тобой поплывет пылающий твой единственный неугасимый пол. Когда ты побежишь в другую ванную, он будет жечь тебе босые ступни. Мы горим, милая, мы горим. Мы дорвались до священного пламени. Уймись, мелочное тщеславие Нерона, пылай, гусарский розыгрыш в стиле поп-арта!

Это отмщение ограбленного эвакуационного детства, пылайте, напрасные годы запоздавшей жизни. Лети над метелями и парижками, наш пламенный плот! Сейчас будут давить их, кувыраться, хохотать в их скользком, сочном, резко пахучем месиве, чтоб дальние свечи зашипели от сока...

В комнате стоял горький чадный зной нагретой кожуры.

Она покосилась, стала оседать. Он едва успел подхватить ее.

— Клинический тип, — успела сказать она. — Что ты творишь! Обожаю тебя...

Через пару дней невозмутимые рабочие перестилали войлок пола, похожий на абстрактный шедевр Поллока и Кандинского, беспечные обитатели «Челси» уплетали оставшиеся апельсины, а Ширли Кларк крутила камеру и сообщала с уважением к обычаям других народов: «Русский дизайн».

РУССКАЯ ПЕСНЯ

Приедешь бледная, совсем не пьяная,
моя сердечная диссидентка,
глаза туманные, звезда обманная,
Непонимание. Misunderstanding.

А там за стенкою Москва временная.
Misunderstanding. Непонимание.
Умчишь в Германию. И там без денег —
непонимание, misunderstanding.

Не понимают тебя соседи.
Не понимают друзья и родичи.
Пришло сердечное диссидентство,
сменив политику на эротику.

Не водки просишь — вина десертного,
а то Бергсона в наш мат вмонтируешь —
возмущает. Misunderstanding.

Живешь с включенным кондиционером.
В отпаде денди наши романские.
Непониманье — канцерогенно,
пойми, смертельно непонимание.

Стерилизуйте еду и ванную!
Мойте руки после аплодисментов!
Свеча заздравная поминальную
не понимает.
Misunderstanding.

◆

Читая
на мощах

◆



«ОКТЯБРЬСКИЙ»

Четыре тыщи душ мерцают вроде мошек.
Смущает странный свет наш нищенский общак.
Четыре тыщи лиц я обдаю, как мойщик.
Читаю на мощах.

Читаю на мощах времен кардиограмму.
Шаги мои трещат
От радиации погубленного храма.
Мы строим на мощах.

Построен на мощах «Октябрьский» зал концертный.
Рыдает валторнист.
Фундамент сохранив, снес Греческую церковь
Хрущев-волюнтарист.

При имени глупца ты нос смешливо морщишь.
Зал искрится, как брют.
Скажу я проще — будущие мощи
священнодействуют:

Свобода — сводня варварства сегодня.
Любой талант — мишень.
Кумиров топчем. Летний Сад в исподнем.
Топлесс луна. Наш разум возмущен.

Неужто трудный путь наш в Преисподнюю
мощами вымощен?
Кощунствует попса, «Беретта» женщин мочит.

«Ширяйтесь натошак!»
Но освящают нас смущающие мощи.
Читаю на мощах.



РЕКВИЕМ ОПТИМИСТИЧЕСКИЙ

За упокой Высоцкого Владимира
коленипреклоненная Москва,
разгладивши битловки, заводила
его потусторонние слова.

Владимир умер в 2 часа.
И бездыханно
стояли полные глаза,
как два стакана.

А над губой росли усы
пустой утехой,
резинкой врезались трусы,
разит аптекой.

Спи, шансонье Всея Руси,
отпетый.
Ушел твой ангел в небеси
обедать.

Володька,
если горлом кровь,
Володька,
когда от умных докторов
воротит,
а баба, русский журавель,
в отлете,

орет за тридевять земель:

«Володя!»

Ты шел закатною Москвой,
как богомаз мастеровой,

чуть выпив,

шел популярней, чем Пеле,

с беспечной челкой на челе,

носил гитару на плече,

как пару нимбов.

(Один для матери — большой,

золотенький,

под ним для мальчика — меньшей...)

Володя!..

За этот голос с хрипотцой,

дрожь сводит,

отравленная хлеб-соль

мелодий,

купил в валютке шарф цветной,

да не походишь.

Спи, русской песни крепостной, —

свободен.

О златоустом блатаре

рыдай, Россия!

Какое время на дворе —

таков мессия.

А в Склифосовке филиал

Евангелия.

И Воскрешающий сказал:

«Закреть едальники!»

Твоею песенкой ревя
под маскою,
врачи произвели реанимацию.
Вернулась снова жизнь в тебя.
И ты, отудобев,
нам говоришь: «Вы все — туда.
А я — оттуда!..»

Гремите, оркестры,
Козыри — крести.
Высоцкий воскресе.
Воистину воскресе!



ПОХОРОНЫ ГОГОЛЯ НИКОЛАЯ ВАСИЛЬЕВИЧА

Завещаю тела моего не по-
гребать до тех пор, пока не по-
кажутся явные признаки раз-
ложения. Упоминаю об этом
потому, что уже во время са-
мой болезни находили на меня
минуты жизненного онемения,
сердце и пульс переставали
биться...

Н.В. Гоголь. «Завещание»

1

Вы живого несли по стране!
Гоголь был в летаргическом сне.
Гоголь думал в гробу на спине:

«Как доносится дождь через крышу,
но ко мне не проникнет, шумя, —
отпеванье неясное слышу,
понимаю, что это меня.

Вы вокруг меня встали в кольцо,
наблюдая, с какою кручиной
погружается нос мой в лицо,
точно лезвие в нож перочинный.

Разве я некрофил? Это вы!
Любят похороны в России,
поминают, когда мертвы,
забывая, пока живые.

Плоть худую и грешный мой дух
под прощальные плачи волшебные
заколачивает в сундук,
отправляя назад, до востребования».

Летаргическая Нева,
летаргическая немота —
позабыть, как звучат слова...

2

«Поднимите мне веки,
соотечественники мои,
в летаргическом веке
пробудитесь от галиматьи.
Поднимите мне веки!

Разбуди меня, люд молодой,
мои книги читавший под партой,
потрудитесь понять, что со мной.
Нет, отходят попарно!

Под Уфой затекает спина,
под Одессой мой разум смеркается.
Вот одна подошла, поняла...
Нет — сморкается!

Вместо смеха открылся кошмар.
Мною сделанное — минимально.
Мне впивается в шею комар,
он один меня понимает.

Я запретный выращивал плод,
плоть живую я скрещивал с тленьем.
Помоги мне подняться, Господь,
чтоб упасть пред тобой на колени».

Летаргическая благодать,
летаргический балаган —
спать, спать, спать...

«Я вскрывал, пролетая, гроба
в предрассветную пору,
как из складчатого гриба,
из крылатки рассеивал споры.

Ждал в хрустальных гробах, как в стручках,
оробелых царевен горошины.
Что достигнуто? Я в дураках.
Жизнь такая короткая!

Жизнь сквозь поры несется в верхи,
с той же скоростью из стакана
испаряются пузырьки
недопитого мною нарзана».

Как торжественно-страшно лежать,
как беспомощно знать и желать,
что стоит недопитый стакан!

3

«Из-под фрака украли исподнее.
Дует в щель. Но в нее не просунуться.
Что там муки Господние
перед тем, как в могиле проснуться!»

Крик подземный глубин не потряс.
Трое выпили на могиле.
Любят похороны у нас,
как вы любите слушать рассказ,
как вы Гоголя хоронили.

Вскройте гроб и застыньте в снегу.
Гоголь, скорчась, лежит на боку.
Вросший ноготь подкладку прорвал сапогу.

1973—1974



* * *

Есть русская интеллигенция.
Вы думали — нет? Есть.
Не масса индифферентная,
а совесть страны и честь.

Есть в Рихтере и Аверинцеве
земских врачей черты —
постольку интеллигенция,
поскольку они честны.

«Нет пороков в своем отечестве»,
не уважаю лесть.
Есть пороки в моем отечестве,
зато и пророки есть.

Такие, как вне коррозии,
ноздрей петербургской вздет,
Николай Александрович Козырев —
небесный интеллигент.

Воюет с извечной дурью,
для подвига рождена,
отечественная литература —
отечественная война.

Какое призванье лестное
служить ей, отдавши честь:
«Есть, русская интеллигенция!
Есть!»

1975



У Вознесенского глазной слух, слуховое зрение. Все видимое он слышит — все слышимое он видит. Мечта Хлебникова о слиянии синевы колокольчика с кукованием кукушки сбылась в поэзии Вознесенского. В осе он увидел земную ось Манделъштама и услышал ласковое имя Ося. Он увидел тайным зрением поэта мистическую связь между латино-русским написанием *Poessia* и *Россия*.

К. Кедров

* * *

Пострашнее мышеловок,
за решеткою стены,
воет дом умалишенных,
санаторий сатаны.

Что же делать, что же делать,
если родина больна
и над ней в халате белом
санитарит сатана?



ПОМИЛУЙ, ГОСПОДИ...

Отпевали Детонатовича в закрытом гробу.
Как пантера сидит телекамера у оператора
на горбу.

Последнею хохмой чертовой печали иконостас,
Мария повязку черную повязала ему на глаз.
Пиратские череп и кости прикрыли зрачок его...

Упокой душу, Господи, усопшего раба Твоего.

А он отплывал пиратствовать в воды, где ждет
Харон.
Сатана или Санта-Мария встретят его паром?
Изящные череп и кости, скрещенные внизу,
как фото на будущий паспорт, лежат на его глазу.

Стилист? хулиган? двурушник? Гроб пуст.
В нем нет никого.

Упокой, Господи, душу уставшего шута Твоего.

Спасли меня в «Новом мире» когда-то, пират
пера.

А вдруг и тогда схохмили? все это теперь мура.
Земли переделкинской горсточку брошу на гроб его.

Упокой душу, Господи, духовного бомжа Твоего.

ЛЕГЕНДА

Ангел смерти является за душой,
как распахнутый страшный трельяж.
В книгах старых словес
я читал, что он весь
состоял из множества глаз.
И не знал ни Христос,
ни философ Шестов —
почему он из множества глаз?

Если ж он ошибался
(отсрочен ваш час), —
улетал. Оставлял новый взгляд.
Удивленной душе
он дарил пару глаз.
Достоевский так стал, говорят.

Ты идешь по земле,
Валентин, Валентин!
Ангел матери тебя спас.
И за то наделил
тебя зреньем могил
из двенадцати тысяч пар глаз.

Ты идешь меж равнин,
новым зреньем раним.
Как мучителен новый взгляд!
Грудь не в блеске значков —
Как рубашки шерстят.

Ты ночами кричишь,
видишь корни причин.
Утром в ужасе смотришь в трельяж.



РОВ

Не тащи меня, рок,
в симферопольский ров.
Степь. Двенадцатитысячный взгляд.
Чу, лопаты стучат
благодарных внучат.
Геноцид заложил этот клад.

— Задержите лопату!
— Мы были людьми.
— На, возьми! Я пронес бриллиант.
— Ты, папаша, не надо
костьми трясти.
Сдай заначку и снова приляг.

Хорошо людям первыми
радость открыть.
Не дай бог первым вам увидеть
эту свежую яму,
где череп отрыт.
Валя! Это была твоя мать.

Это был, это был,
это был, это был,
золотая и костная пыль.
Со скелета браслетку снимал нетопырь,
а другой, за рулем, торопил.

Это даль, это даль,
запредельная даль.
Череп. Ночь. И цветущий миндаль.
Инфернальный погромщик
спокойно нажал
после заступа на педаль.
Бил лопаты металл.
Кто в свой череп попал?
Но его в темноте не узнал.



* * *

Жаль, что проходит на «ура»
стихов давнишних часть.
Они написаны вчера,
вчера — то есть сейчас.

Я их писал на злобу дня,
писал я, осерчав.
Клянут меня, клеймят меня —
вчера, как и сейчас.

Они застыли в злобу лет.
К чертям бы им пора!
Конца их преступленьям нет
сейчас, как и вчера.

Стих и не плох, но не дай бог,
что персонаж пера
вдруг станет «злобою эпох»
и завтра, как вчера.

А ты садишься на окно,
коленками сучась.
Ты повстречалась мне двно,
всегда — как и сейчас.

1987

* * *

Ну почему он столько раз про ось,
сосущих ось земную, произносит?
Он, не осознавая, произнес:
«Ося...»

Поэты любят имя повторять —
«Сергей», «Владимир» — сквозь земную осыпь.
Он имя позабыл, что он хотел сказать.
Он по себе вздохнул за тыщу лет назад:
«Ох, Осип...»



МОЛИТВА

Когда я придаю бумаге
черты твоей поспешной красоты,
я думаю не о рифмовке —
с ума бы не сойти!

Когда ты в шапочке бассейной
ко мне припустишь из воды,
молю не о души спасенье —
с ума бы не сойти

А за оградой монастырской,
как спирт ударит нашатырный,
последрозовые сады —
с ума бы не сойти!

Когда отчетливо и грубо
стрекозы посреди полей —
стоят, как черные шурупы
стеклянных, замерших дверей,

такое растворится лето,
что только вымолвишь: «Прости,
за что мне это, человеку!
С ума бы не сойти!»

Куда-то душу уносили —
забыли принести.
«Господь, — скажу, — или Россия,
назад не отпусти!»

1970



* * *

Не отрекусь
от каждой строчки прошлой —
от самой безнадежной и продрогшей
из актрисуль.

Не откажусь
от жизни торопливой,
от детских неоправданных трамплинов
и от кощунств.

Не отступлюсь —
«Ни шагу! Не она ль за нами?» —
наверное, с заблудшими, лгунами...
Мой каждый куст!

В мой страшный час,
хотя и бредовая,
поэзия меня не предавала,
не отреклась.

Я жизнь мою
в исповедальне высказал.
Но на весь мир транслировалась исповедь.
Все признаю,

Толпа кликуш
ждет, хохоча, у двери:
«Кус его, кус!»
Все, что сказал, вздохнув, удостоверяю.

Не отрекусь.

1975



ВЫПУСТИ ПТИЦУ!

Что с тобой, крашенная, послушай?!
Модная прима с прядью плакучей,
бросишь купюру — выпустишь птицу.
Так что прыщами пошла продавщица.

Деньги на ветер, синь шебутная!
Как щебетала в клетке из тиса
та аметистовая четвертная —
«Выпусти птицу!»

Ты оскорбляешь труд птицелова,
месячный заработок свой горький
и «Геометрию» Киселева,
ставшую рыночной оберткой.

Птица тебя не поймет и не вспомнит,
люди сматерятся,
будет обед твой — булочка в полдник,
ты понимаешь? Выпусти птицу!

Птице пора за моря вероломные,
пусты лимонные филармонии,
пусть не себя — из неволи и сытости —
выпусти, выпусти...

Не понимаю, но обожаю
бабскую выходку на базаре.
«Ты дефективная, что ли, деваха?
Дура — де-юре, чудо — де-факто!»

Как ты ждала ее, красотулю!
Вымыла в горнице половицы.
Ах, не латунную, а золотую!..
Не залетела. Выпусти птицу!

Мы третьи сутки с тобою в раздоре,
чтоб разрядиться,
выпусти сладкую пленницу горя,
выпусти птицу!

В руки синица — скучная сказка,
в небо синицу!
Дело отлова — доля мужская,
женская доля — выпустить птицу!..

Наманикюренная десница,
словно крыло самолетное снизу,
в огненных знаках над рынком струится,
выпустив птицу.

Да и была ль она, вестница чудная?..
Вспыхнет на шляпе вместо гостинца,
пятнышко едкое и жемчужное —
память о птице.

ЗАПОВЕДЬ

Вечером, ночью, днем и с утра
благодарю, что не умер вчера.

Пулей противника сбита свеча.
Благодарю за священность обряда.
Враг по плечу — долгожданнее брата,
благодарю, что не умер вчера.

Благодарю, что не умер вчера
сад мой и домик со старой терраской,
был бы вчерашний, позавчерашний,
а поутру зацвела мушмула!

И никогда б в мою жизнь не вошла
ты, что зовешься греховною силой —
чисто, как будто грехи отпустила,
дом застелила — да это ж волжба!

Я б не узнал, как ты утром свежа!
Стал бы будить тебя некий мужчина.
Это же умонепостижимо!
Благодарю, что не умер вчера.

Проигрыш черен. Подбита черта.
Нужно прочесть приговор, не ворча.
Нужно, как Брумель, начать с «ни черта»
Благодарю, что не умер вчера.

Существование — будто сестра,
не совершай мы волшебных ошибок.
Жизнь — это точно любимая, ибо
благодарю, что не умер вчера.

Ибо права не вражда, а волжба.
Может быть, завтра скажут: «Пора!»
Так нацарапай с улыбкой пера:
«Благодарю, что не умер вчера».



РУССКИЕ ПОЭТЫ

Не пуля, так сплетня
их в гроб уложила,
не с песней, а с петлей
их горло дружило.

И пули свистали,
как в дыры кларнетов,
в пробитые головы
лучших поэтов.

Их свищут метели.
Их пленумы судят.
Но есть Прометеи.
И пленных не будет.

Несется в поверья
верстак под Москвой.
А я подмастерье
в его мастерской.

Свищу, как попало,
и так и сяк.
Лиха беда начало.
Велик верстак.

1957

МАТЬ

Я отменил материнские похороны.
Не воскресить тебя в эту эпоху.

Мама, прости эти сборы повторные.
Снегом осело, что было лицом.
Я тебя отнял у крематория
и положу тебя рядом с отцом.

Падают страшные комья весенние
Новодевичьего монастыря.
Спят Вознесенский и Вознесенская —
жизнью пронизанная земля.

То, что к тебе прикасалось, отныне
стало святыней.
В сквере скамейки, Ордынка за ними
стали святыней.
Стал над березой екатерининской
свет материнский.

Что ты прошла на земле, Антонина?
По уши в ландыши влюблена,
интеллигентка в косынке Рабкрина
и ермоловская спина!

В скрежет зубовой индустрии и примусов,
в мире, замешенном на крови,
ты была чистой любовью, без примеси,
лоб-одуванчик, полный любви.

Ты — незамеченная Россия,
ты охраняла очаг и порог,
беды и волосы молодые,
как в кулачок, зажимая в пучок.

Как ты там сможешь, как же ты сможешь
там без родни?
Носик смешливо больше не сморщишь
и никогда не поправишь мне воротник.

Будешь ночами будить анонимно.
Сам распахнется ахматовский томик.
Что тебя мучает, Антонина,
Тоня?

Рюмка стоит твоя после поминок
с корочкой хлебца на сорок дней.
Она испарилась наполовину.
Или вправду притронулась к ней?

Не попадает рифма на рифму,
но это последняя связь с тобой!
Оборвалась. Я стою у обрыва,
малая часть твоей жизни земной.



* * *

Единственно живой среди неживых,
свидетелем он Рая стал и Ада,
обитель справедливую Расплаты
он, как анатом, все круги постиг.
Он видел Бога. Звездопадный стих
над родиной моей рыдал набатно.
Певцу нужны небесные награды.
Ему не надо почестей людских.
(Я говорю о Данте. Это он
не понят был. Я говорю о Данте.)
Он озверевшей банде был смешон.
Непониманье гения — закон.
О, дайте мне его прозренья, дайте!
И я готов, как он, быть осужден.

1975



* * *

Кончину чую. Но не знаю часа.
Плоть ищет утешенья в кутеже.
Жизнь плоти опостылела душе.
Душа зовет отчаянную чашу!
Мир заблудился в непролазной чаще
среди ядовитых гадов и ужей.
Как черви, лезут сплетни из ушей.
И Истина сегодня — гость редчайший.
Устал я ждать. Я верить устаю.
Когда ж взойдет, Господь, что Ты посеял?
Нас в срамоте застанет смерти час.
Нам не постигнуть истину Твою.
Нам даже в смерти не найти спасенья.
И отвернутся ангелы от нас.

1975



МАСЛИЧНАЯ ВЕТВЬ

На склоне
лет земных
гляжу с горы Масличной.
Это я, Господи!
Петуший крик
стал куполом яичным,
это Ты, Господи.
Облаянный,
в парах бензина —
это я, Господи.
В кофейных парусах
Ерусалима —
это Ты, Господи.
Отцовский голос слышу
над долиной.
И чаша пропасти
неотвратима —
это Ты, Господи.
Я выполнил, Отец,
твою программу.
Но сколько во мне теплого
и костного...
Я мел душою,
как метлой поганой.

Прими, Господи,
социалистического
пилигрима.
Это мы, Господи,
с моим народом
веру погребли мы
и сорим в космосе.

На склоне лет земных гляжу
с горы Масличной —
это я, Господи! — это ты, Господи!

Маслины
слепли от машины.
И куполами
в сумерках круглы
объятя русской Магдалины
сомкнулись
над коленями горы.

И страшный путь
шел в небо прогибаясь,
как ванты Крымского моста.
И въелась в камни, спотыкаясь,
тьень от креста.
Путь жизни близок
к высшей точке.
И листики маслин,
размером точно в эти строчки.
записывали за ним.

Я — ветка Божья
северной долины,
где избы горбятся.

Присутствие любви
неодолимой —
это Ты, Господи.

Где ошибался, волком жил
с волками —
это я, Господи.

Все, что я спел
от «а до я» стихами —
это Ты, Господи.

*Иерусалим. Масличная гора
26 октября 1989 г.*



АВЕ, ОЗА...

Аве, Оза...

Ночь или жилье,
псы ли воют, слизывая слезы,
слушаю дыхание твое.

Аве, Оза...

Оробело, как вступают в озеро,
разве знал я, циник и паяц,
что любовь — великая боязнь?

Аве, Оза...

Страшно — как сейчас тебе одной?
Но страшнее — если кто-то возле.
Черт тебя сподобил красотой!

Аве, Оза!

Вы, микробы, люди, паровозы,
умоляю — бережнее с нею.
Дай тебе не ведать потрясений.

Аве, Оза...

Противоположности свело.

Дай возьму всю боль твою и горечь.
У магнита я — печальный полюс,
ты же — светлый. Пусть тебе светло.

Дай тебе не ведать, как грущу.
Я тебя не огорчу собою.
Даже смертью не обеспокою.
Даже жизнью не отягощу.

Аве, Оза. Пребывай светла.
Мимолетное непрерывимо.
Не укоряю, что прошла.
Благодарю, что приходила.

Аве, Оза...

1

Женщина стоит у циклотрона —
стройно,

не отстегнув браслетки,
вся изменяясь смутно,
с нами она — и нет ее,
прислушивается к чему-то,

тает, ну как дыхание,
так за нее мне боязно!
Поздно ведь будет, поздно!
Рядышком с кадыками
циклотрона 3-10-40.

Я знаю, что люди состоят из частиц,
как радуги из светящихся пылинок
или фразы из букв.
Стоит изменить порядок, и наш
смысл меняется.
Говорили ей, — не ходи в зону!
А она...

«Зоя, — кричу я, — Зоя!..»

Но она не слышит.

Она ничего не понимает.

Может, ее называют Оза?

2

Не узнаю окружающего.

Вещи остались теми же, но частицы их, мигая, изменяли очертания, как лампочки иллюминации на Центральном телеграфе.

Связи остались, но направление их изменилось.

Мужчина стоял на весах.

Его вес оставался тем же. И нос был на месте, только вставлен внутрь, точно полый чехол кинжала. Неумещающий кончик торчал из затылка.

Деревья лежали навзничь, как ветвистые озера, зато тени их стояли вертикально, будто их вырезали ножницами.

Они чуть погромыхивали от ветра, вроде серебра от шоколада.

Глубина колодца росла вверх, как черный сноп прожектора. В ней лежало утонувшее ведро и плавали кусочки тины.

Из трех облачков шел дождь.

Они были похожи на пластмассовые гребенки с зубьями дождя. (У двух зубья торчали вниз, у третьего — вверх.)

Ну и рокировка! На место ладьи генуэзской башни встала колокольня Ивана Великого.

На ней, не успев растаять, позвякивали сосульки.

Страницы истории были перетасованы, как карты в колоде. За индустриальной революцией следовало нашествие Батыея.

У циклотрона толпилась очередь. Проходили профилактику. Их разбирали и собирали. Выходили обновленными.

У одного уха было привинчено ко лбу с дырочкой посредине вроде зеркала отоларинголога. «Счастливчик, — утешали его. — Удобно для замочной скважины! И видно и слышно одновременно».

А эта требовала жалобную книгу.

«Сердце забыли положить, сердце!»

Двумя пальцами он выдвинул ей грудь, как правый ящик письменного стола, вложил что-то и захлопнул обратно. Экспериментщик

Ъ пел, пританцовывая.

«Е9 — Д4, — бормотал экспериментщик. — О, таинство творчества! От перемены мест слагаемых сумма не меняется. Важно сохранить систему. К чему поэзия? Будут работы. Психика — это комбинация аминокислот...

Есть идея! Если разрезать земной шар по экватору и вложить одно полушарие в другое, как половинку яичной скорлупы...

Конечно, придется спилить Эйфелеву башню, чтобы она не проткнула поверхность в районе Австралийской низменности.

Правда, половина человечества погибнет, но зато вторая вкусит радость эксперимента!..»

И только на сцене Президиум секции квазиискусства сохранял порядок. Его члены сияли, как яйца в аппарате для просвечивания яиц. Они были круглы и поэтому одинаковы со всех сторон. И лишь у одного над столом вместо туловища торчали ноги подобно трубам перископа.

Но этого никто не замечал.

Докладчик выпятил грудь. Но голова его, как у целлулоидного пупса, была повернута вперед затылком. «Вперед, к новому искусству!» — призывал докладчик. Все соглашались.

Но где перед?

Горизонтальная стрелка указателя (не то «туалет», не то «к новому искусству!») торчала вверх на манер десяти минут третьего. Люди продолжали идти целеустремленной цепочкой по ее направлению, как по ступеням невидимой лестницы. Никто ничего не замечал.

НИКТО

Над всем этим, как апокалипсический знак, горел плакат: «Опасайтесь случайных связей!» Но кнопки были воткнуты острием вверх.

НИЧЕГО

Иссиня-черные брови были нарисованы не над,
а под глазами, как тени от карниза.

НЕ ЗАМЕЧАЛ.

МОЖЕТ, ЕЕ НАЗЫВАЮТ ОЗА?

3

Ты мне снишься под утро,
как ты, милая, снишься!..

Почему-то под дулами,
наведенными снизу.

Ты летишь Подмосковьем,
хороша до озноба,
вся твоя маскировка —
30 метров озона!

Твои миги сосчитаны
наведенным патроном,
30 метров озона —
вся броня и защита!

В том рассвете болотном,
где полет безутешен,
но пахнуло полетом,
и — уже не удержишь.

Дай мне, Господи, крыльев
не для славы красивой —
чтобы только прикрыть ее
от прицела трясины.

Пусть еще погуляется
этой дуре рискованной,
хоть секунду — раскованно.
Только пусть не оглянется.

Пусть хоть ей будет счастье
в доме с умным сынишкой.
Наяву ли сейчас ты?
И когда же ты снишься?

От утра ли до вечера,
в шумном счастье заверчена,
до утра? поутру ли? —
за секунду от пули.

4

А может, милый друг, мы впрямь
сентиментальны?
И душу удалят, как вредные миндалины?
Ужели и хорей, серебряный флейтист,
погибнет, как форель погибла у плотин?

Ужели и любовь не модна, как камин?
Аминь?
Но почему ж тогда, заполнив Лужники,
мы тянемся к стихам, как к травам от цинги?
И радостно и робко в нас души расцветают...
Роботы,
роботы,
роботы
речь мою прерывают.

Толпами автоматы
топают к автоматам,
сунут жетон оплаты,
вытянут сок томатный,
некогда думать, некогда,
в офисы — как вагонетки,
есть только брутто, нетто —
быть человеком некогда!

Вот мой приятель-лирик:
к нему забежала горничная...
Утром вздохнула горестно, —
мол, так и не поговорили!

Ангел, об чем претензии?
Провинциалочка некая!
Сказки хотелось, песни?
Некогда, некогда, некогда!

Что там в груди колотится
пойманной партизанкою?
Сердце, вам безработица.
В мире — роботизация.

Ужас! Мама,
роди меня обратно!..

Обратно — к истокам неслись реки.
Обратно — от финиша к старту задним
ходом неслись мотоциклисты.
Баобабы на глазах, худея, превращались
в прутики саженцев — обратно!
Пуля, вылетев из сердца Маяковского,
пролетев прожженную дырочку на рубашке,
юркнула в ствол маузера 4-03986, а тот,
свернувшись улиткой, нырнул в ящик стола...

...Твой отец историк. Он говорит,
что человечество
имеет обратный возраст. Оно идет
от старости к молодости.
Хотя бы средневековье. Старость.
Морщинистые стены инквизиции.
Потом Ренессанс — бабье лето человечества.
Это как женщина, красивая, все познавшая,
пирует среди зрелых плодов и тел.
Не будем перечислять надежд, измен,
приключений XVIII века, задумчивой
беременности XIX...
А начало XX века —
бешеный ритм революции!..
«Мы — первая любовь земли...»
«Я думаю о будущем, — продолжает историк, —
когда все мечты осуществляются.
Техника в добрых руках добра.
Бояться техники?
Что же, назад в пещеру?..»
Он седой и румяный.
Ему улыбаются дети и собаки.

5

А не махнуть ли на море?

6

В час отлива возле чайной
я лежал в ночи печальной,
говорил друзьям
об Озе и величье бытия,

но внезапно черный ворон
примешался к разговорам,
вспыхнув синими очами,
он сказал:
«А на фига?!»

Я вскричал: «Мне жаль вас, птица,
человеком вам родиться б,
счастье высшее трудиться,
полпланеты раскроя...»
Он сказал: «А на фига?!»

«Будешь ты, — великий ментор,
бог машин, экспериментов,
будешь бронзой монументов
знаменит во все края...»
Он сказал: «А на фига?!»

«Уничтожив олигархов,
ты настроишь агрегатов,
демократией заменишь
короля и холуя...»
Он сказал: «А на фига?!»

Я сказал: «А хочешь — будешь
спать в заброшенной избушке,
утром пальчики девичьи
будут класть на губы вишни,
глушь такая, что не слышна
ни хвала и ни хула...»

Он ответил: «Все — мура,
раб стандарта, царь природы,
ты свободен без свободы,

ты летишь в автомашине,
но машина — без руля...
Оза, Роза ли, стервоза —
как скучны метаморфозы,
в ящик рано или поздно...
Жизнь была — а на фига?!»

Как сказать ему, подонку,
что живем не чтоб подохнуть, —
чтоб губами тронуть чудо
поцелуя и ручья!
Чудо жить — необъяснимо.
Кто не жил — что спорить с ними?!
Можно бы — да на фига?

7

А тебе семнадцать. Ты запыхалась после
гимнастики. И неважно, как тебя зовут.
Ты и не слышала о циклотроне.
Кто-то сдуру воткнул на приморской
набережной два ртутных фонаря.
Мы идем навстречу.
Ты от одного, я от другого.
Два света бьют нам в спину.
И прежде, чем встречаются наши руки,
сливаются наши тени — живые, теплые,
окруженные мертвой белизной.
Мне кажется, что ты все время идешь
навстречу!
Затылок людей всегда смотрит в прошлое.
За нами, как очередь на троллейбус,
стоит время.

У меня за плечами прошлое, как рюкзак,
за тобой — будущее. Оно за тобой шумит,
как парашют.

Когда мы вместе — я чувствую, как из
тебя в меня переходит будущее, а в тебя —
прошлое, будто мы песочные часы.

Как ты страдаешь от пережитков
будущего!

Ты резка, искренна. Ты поразительно
невежественна.

Прошлое для тебя еще может измениться
и наступать. «Наполеон, — говорю я, — был
выдающийся государственный деятель». Ты
отвечаешь: «Посмотрим!»

Зато будущее для тебя
достоверно и безусловно.

«Завтра мы пошли в лес», — говоришь ты.
У, какой лес зашумел назавтра! До сих пор у
тебя из левой туфельки не вытряхнулась
сухая хвойная иголка.

Твои туфли остроносые — такие уже не
носят. «Еще не носят», — смеешься ты.

Я пытаюсь заслонить собой
прошлое, чтобы ты никогда не разглядела
майданеков и инквизиции.

Твои зубы розовы от помады.

Иногда ты пытаешься
подладиться ко мне.

Я замечаю, что-то мучит тебя. Ты что-то
ерзаешь. «Ну, что ты?»

Освобождаясь, ты, довольная,

выпаливаешь, как на иностранном языке:
«Я получила
большое эстетическое удовольствие!
А раньше я тебя боялась... А о чем ты
думаешь?..»

МОЖЕТ, ЕЕ НАЗЫВАЮТ ОЗА?

8

Выйду ли к парку, в море ль плыву —
туфельк пара стоит на полу.

Левая к правой набок припала,
их не поправят — времени мало.

В мире не топлено, в мире ни зги,
вы еще теплые, только с ноги,

в вас от ступни потемнела изнанка,
вытерлось золото фирменных знаков...

Красные голуби просо клюют.
Кровь кружит голову — спать не дают!

Выйду ли к пляжу — туфельк пара,
будто купальщица в море пропала.

Где ты, купальщица? Вымыты пляжи.
Как тебе плавается? С кем тебе пляшется?

...В мире металла, на черной планете,
сентиментальные туфельки эти,

как перед танком присели голубки —
нежные туфельки в форме скорлупки!

.....

9

Друг белокурый, что я натворил!
Тебя не опечалят строки эти?
Предполагая подарить бессмертье,
выходит, я погибель подарил.

Фельдфебель, олимпийский эгоист,
какой кретин скатился до приказа:
«Остановись, мгновенье. Ты — прекрасно»?!
Нет, продолжайся, не остановись!

Зачем стреножить жизнь, как конокрад?
Что наша жизнь?
Взаимопревращенье.
Бессмертье ж — прекращенное движенье,
как вырезан из ленты кинокадр.

Бессмертье — как зверинец меж людей.
В нем стонут Анна, Оза, Беатриче...
И каждый может, гогоча и тыча,
судить тебя и родинки глядеть.

Какая грусть — не видеться с тобой,
какая грусть увидеться в толкучке,
где каждый хлюст, вонзив клешни, толкуя,
касается тебя — какая боль!

Ты-то простишь мне боль твою и стон.
Ну, а в душе кровавые мозоли?
Где всякий сплетник, жизнь твою мусоля,
жует бифштекс над этим вот листом!

Простимся, Оза, сквозь решетку строк...
Но кровь к вискам бросается, задохшись,
когда живой, как бабочка в ладошке,
из телефона бьется голосок...

ОТ АВТОРА И КОЕ-ЧТО ДРУГОЕ

Люблю я Дубну. Там мои друзья.
Березы там растут сквозь тротуары.
И так же независимы и талы
чудесных обитателей глаза.

Цвет нации божественно оброс.
И, может, потому не дам я дуба —
мою судьбу оберегает Дубна,
как берегу я свет ее берез.

Я чем-то существую ради них.
Там я нашел в гостинице дневник.

Не к первому попала мне тетрадь:
ее командировщики листали,
острили на полях ее устало
и засыпали, сияясь разобрать.

Вот чей-то почерк; «Автор-абстрактивист!»
А снизу красным: «Сам туда катись!»

«Может, автор сам из тех, кто
тешит публику подтекстом?»

«Брось искать подтекст, задрыга!
Ты смотришь в книгу — видишь фигу».

Оставим эти мудрости, дневник.
Хватает комментариев без них.

...А дальше запись лекций начиналась,
мир цифр и чей-то профиль машинальный.
Здесь реализмом трудно потрястись —
не Репин был наш бедный портретист.

А после были вырваны листы.
Наверно, мой упившийся предшественник,
где про любовь рванул, что
посущественней...
А следующей фразой было:
ТЫ

10

Ты сегодня, 16-го, справляешь день рождения
в ресторане «Берлин». Зеркало там на
потолке.

Из зеркала вниз головой, как сосульки,
свисали гости. В центре потолка нежный, как
вымя, висел розовый торт с воткнутыми
свечами.

Вокруг него, как лампочки, ввернутые в
элегантные черные розетки костюмов, сияли
лысины и прически. Лиц не было видно.
У одного лысина была маленькая, как дырка на
пятке носка. Ее можно было закрасить чернилами.

У другого она была
прозрачна, как спелое яблоко, и сквозь нее, как
зернышки, просвечивали
три мысли (две черные и одна светлая —
недозрелая).

Проборы щеголей горели, как щели в
копилках.

Затылок брюнетки с приклепленным
прозрачным нейлоновым бантом полз, словно
муха по потолку.

Лиц не было видно. Зато перед
каждым, как таблички перед экспонатами, лежа-
ли бумажки, где кто сидит.

И только одна тарелка была белая, как пустая розетка.

«Скажите, а почему слева от хозяйки пустое место?»

«Генерала, может, ждут?» «А может, помер кто?»

Никто не знал, что там сижу я. Я невидим. Изящные денди, подходящие тебя поздравить, спотыкаются об меня, царапают вилками.

Ты сидишь рядом, но ты восторженно чужая, как подарок в целлофане.

Модного поэта просят: «Ах, рваните чего-то эдакого! Поближе к жизни, не от мира сего... чтобы модерново...»

Поэт подымается (вернее, опускается, как спускают трап с вертолета). Голос его странен, как бы антимирен ему.

МОЛИТВА

Мать Владимирская, единственная,
первой молитвой — молитвой последнею —
я умоляю — стань нашей посредницей.
Неумолимы зрачки Ее льдистые.
Я не кощунствую — просто нет силы.
Жизнь заberi и успехи минутные,
наихрустальнейший голос в России —
мне ни к чему это!
Видишь — лежу — почернел как кикимора.
Все безысходно...
Осталось одно лишь —
грохнись ей в ноги,
Мать Владимирская,
может, умолишь, может, умолишь...

Читая, он запрокидывает лицо. И на его белом
лице, как па тарелке, горел нос, точно
болгарский перец.
Все кричат: «Браво! Этот лучше всех. Ну и
тостик!» Слово берет следующий поэт. Он
пьян вдребезину. Он свисает с потолка
вниз головой и просыхает, как полотенце.
Только несколько слов можно
разобрать из его бормотанья:
— Заонежье. Тает теплоход.
Дай мне погрузиться в твое озеро.
До сих пор вся жизнь моя —
Предозье.
Не дай бог — в Заозье занесет...

Все замолкают.

Слово берет тамада Ъ.

Он раскачивается
вниз головой, как длинный маятник.

«Гост за новорожденную».

Голос его, как из репродуктора, разносится
с потолка ресторана. «За ее новое рождение,
и я, как крестный... Да, а как зовут
новорожденную?» (Никто не знает.)

Как это все напоминает
что-то! И под этим подвешенным миром внизу
расположился второй, наоборотный, со своим
поэтом, со своим тамадой Ъ.

Они едва по касаются затылками друг друга,
симметричные, как песочные часы. Но что это?
Где я?

В каком идиотском измерении? Что это
за потолочно-зеркальная реальность? Что
за наоборотная страна?!

Ты-то как попала сюда?

Еще мгновенье, и все сорвется вниз, вдребезги,
как капли с карниза!

Надо что-то делать, разморозить тебя, разбить
это зеркало.

Задумавшись, я машинально глотаю бутерброд
с кетовой икрой.

Но почему висящий напротив, как окорок,
периферийный классик с ужасом смотрит
на мой желудок? Боже, ведь я-то невидим,
а бутерброд реален! Он передвигается
по мне, как красный джемпер в лифте.

Классик что-то шепчет соседу.

Слух моментально пронизывает головы, как
бусы на нитке.

Красные змеи языков ввинчиваются в уши соседей. Вся глядят на бутерброд.

«А нас килькой кормят!» — вопит классик. Надо спрятаться! Ведь если они обнаружат меня, кто же выручит тебя, кто же разобьет зеркало?!

Я выпрыгиваю из-за стола и ложусь на красную дорожку пола. Рядом со мной, за стулом, стоит пара туфельек. Они, видимо, жмут кому-то. Левая припала к правой. (Как все напоминает что-то!) Тебя просят спеть...

Начинаются танцы. Первая пара с хрустом проносится по мне. Подошвы! Подошвы! Почему все ботинки с подковами? Рядом кто-то с хрустом давит по туфелькам.

Чьи-то каблучки, подобно швейной машинке, прошивают мне кожу на лице. Только бы не в глаза!..

Я вспоминаю все. Я начинаю понимать все. Роботы! Роботы! Роботы!

Как ты, милая, снишься!

«Так как же зовут новорожденную?» — надывается тамада.

«Зоя! — ору я. — Зоя!»

А МОЖЕТ, ЕЕ НАЗЫВАЮТ ОЗА?

11

Знаешь, Зоя, — теперь — без трепя.
Разбегаются наши тропы.
Стоит им пойти стороною,
остального не остановишь.

Помнишь, Зоя, — в снега застеленную,
помнишь Дубну, и ты играешь.
Оборачиваешься от клавиш.
И лицо твое опустело.
Что-то в нем приостановилось
и с тех пор невозстановимо.

Всяко было — дождь и радуги,
горизонт мне являл немилость.
Изменяли друзья злорадно.
Только ты не переменялась.

Зоя, помнишь, пора иная?
Зал, взбесившийся как свилярня...
Если жив я назло всем слухам,
в том вина твоя иль заслуга.

Когда беды меня окуривали,
я, как в воду, нырял под Ригу,
сквозь соломинку белокурую
ты дыхание мне дарила.

Километры не разделяют.
а сближают, как провода,
непростительнее, когда
миллиметры нас раздирают!

Если боли людей сближают,
то на черта мне жизнь без боли?
Или, может, беда блуждает
не за мной, а вдруг за тобою?

Нас спасающие — неспасаемы.
Что б ни выпало претерпеть,
для меня важнейшее самое —
как тебя убережь теперь!

Ты ль меняешься? Я ль меняюсь?
И из лет
очертанья, что были нами,
опечаленно машут вслед.

Горько это, но тем не менее
нам пора... Вернемся к поэме.

12

Экспериментщик, чертова перечница,
изобрел агрегат ядерный.
Не выдерживаю соперничества.
Будьте прокляты, циклотроны!

Будь же проклята ты, громада
программированного зверья.
Будь я проклят за то, что я
слыл поэтом твоих распадов!

Мир — не хлам для аукциона.
Я — Андрей, а не имя рек.
Все прогрессы —
реакционны,
если рушится человек.

Не купить нас холодной игрушкой,
механическим соловейчиком!
В жизни главное человечность —
хорошо ль вам? красиво ль? грустно?

Проклинаю псевдопрогресс.
Горло саднит от техсловес.
Я им голос придал и душу,
будь я проклят за то, что в грядущем,

порубав таблеток с эссенцией,
спросит женщина тех времен:
«В третьем томике Вознесенского
что за зверь такой Циклотрон?»

Отвечаю: «Их кости ржавы,
отпугали, как тарантас.
Смертны техники и державы,
проходящие мимо нас.

Лишь одно на земле постоянно,
словно свет звезды, что ушла, —
продолжающееся сияние,
называли его душа.

Мы растаем и снова станем,
и неважно в каком бору,
важно жить, как леса хрустальны
после заморозков поутру.

И от ягод звенит кустарник,
В этом звоне я не умру».

И подумает женщина: «Странно!
Помню Дубну, снега с кострами.
Были пальцы от лыж красны.
Были клавиши холодны.

Что же с Зоей?»
Та, физик давняя?
До свидания, до свидания.

Отчужденно, как сквозь стекло,
ты глядишь свежо и светло.
В мире солнечно и морозно...

Прощай, Зоя.
Здравствуй, Оза!

13

Прощай, дневник, двойник души чужой,
забытый кем-то в дубненской гостинице.
Но почему, виски руками стиснув,
я думаю под утро над тобой?

Твоя наивность странна и смешна.
Но что-то ты в душе моей смешал.

Прости царапы моего пера.
Чудовищна ответственность касаться
чужой судьбы, тревог, галлюцинаций!
Но будь что будет! Гранки ждут. Пора.

И может быть, нескладный и щемящий,
придет хозяин на твой звон щенячий.
Я ничего в тебе не изменил,
лишь только имя Зоей заменил.

14

На крыльце,
очищая лыжи от снега,
я поднял голову.
Шел самолет.
И за ним
на неизменном расстоянии
летел отставший звук,
прямоугольный, как прицеп
на буксире.

*Дубна — Одесса
Март 1964 г.*



МНЕ ЧЕТЫРНАДЦАТЬ ЛЕТ

Р и ф м ы п р о з ы

«Тебя Пастернак к телефону!»

Оцепеневшие родители уставились на меня. Шестиклассником, никому не сказавшись, я послал ему стихи и письмо. Это был первый решительный поступок, определивший мою жизнь. И вот он отозвался и приглашает к себе на два часа, в воскресенье.

Стоял декабрь. Я пришел к серому дому в Лаврушинском, понятно, за час. Подождав, поднялся лифтом на темную площадку восьмого этажа. До двух оставалась еще минута. За дверь, видимо, услышали хлопнувший лифт. Дверь отворилась.

Он стоял в дверях.

Все поплыло передо мной. На меня глядело удивленное удлинленно-смуглое пламя лица. Какая-то оплывшая стеариновая кофта обтягивала его крепкую фигуру. Ветер шевелил челку. Не случайно он потом для своего автопортрета изберет горящую свечку. Он стоял на сквозняке двери.

Сухая, сильная кисть пианиста.

Поразила аскеза, нищий простор его нетопленного кабинета. Квадратное фото В. Маяковского и кинжал на стене. Англо-русский словарь Мюллера — он тогда был прикован к переводам. На столе жалась моя ученическая тетрадка, вероятно, приготовленная к разговору. Волна ужаса и обожания прошла по мне. Но бежать поздно.

Он заговорил с середины.

Скулы его подрагивали, как треугольные остовы кры-

льев, плотно прижатые перед взмахом. Я боготворил его. В нем была тяга, сила и небесная неприспособленность. Когда он говорил, он поддергивал, вытягивал вверх подбородок, как будто хотел вырваться из воротничка и из тела.

Вскоре с ним стало очень просто. Исподтишка разглядываю его.

Короткий нос его, начиная с углубления переносицы, сразу шел горбинкой, потом продолжался прямо, напоминающая смуглый ружейный приклад в миниатюре. Губы сфинкса. Короткая седая стрижка. Но главное — это плывущая дымящаяся волна магнетизма. «Он, сам себя сравнивший с конским глазом».

Почему он откликнулся мне?

Он был одинок в те годы, устал от невзгод, ему хотелось искренности, чистоты отношений, хотелось вырваться из круга — и все же не только это. Может быть, эти странные отношения с подростком, школьником, эта почти дружба что-то объясняют в нем? Это даже не дружба льва с собачкой, точнее — льва со щенком.

Может быть, он любил во мне себя, прибежавшего школьником к Скрябину?

Его тянуло к детству. Зов детства не прекращался в нем.

Когда он переехал насовсем в Переделкино, телефонные звонки стали реже. Телефона на даче не было. Он ходил звонить в контору. Часто он звал меня, когда читал на даче свое новое.

Чтения бывали в его полукруглом фонарном кабинете на втором этаже.

Собирались. Приносили снизу стулья. Обычно гостей бывало около двадцати.

Затихали. Пастернак садился за стол. На нем была легкая серебристая куртка типа френча, вроде тех, что сейчас вошли в моду. В тот раз он читал «Белую ночь»,

«Соловья», «Сказку», ну, словом, всю тетрадь этого периода. «Гамлет» шел в конце. Читая, он всматривался во что-то над нашими головами, видимое только ему. Лицо вытягивалось, худело. И отсвета белой ночи была куртка на нем.

Мне далское время мерещится,
Дом на стороне Петербургской.
Дочь степной небогатой помещицы,
Ты — на курсах, ты родом из Курска.

Чтение обычно длилось около двух часов. Иногда, когда ему надо было что-то объяснить слушателям, он обращался ко мне, как бы мне объясняя: «Андрюша, тут в «Сказке» я хотел как на медали выбить эмблему чувства: воин-спаситель и дева у него на седле». Это было нашей игрой. Я знал эти стихи наизусть, в них он довел до вершины свой прием называния действия, предмета, состояния. В стихах цокали копыта:

Сомкнутые веки.
Выси. Облака.
Воды. Броды. Реки.
Годы и века.

Он щадил самолюбие аудитории. Потом по кругу спрашивал, кому какие стихи пришлись больше по душе. Большинство отвечало: «Все». Он досадовал на уклончивость ответа.

Иногда он просил меня читать собравшимся стихи. Нырять как в холодную воду, дурным голосом я читал, читал...

На звон трамваев, одурев,
Облокотились облака.

Это были мои первые чтения на людях.

Иногда я ревновал его к ним. Конечно, мне куда дороже были беседы вдвоем, без гостей, вернее, его монологи, обращенные даже не ко мне, а мимо меня — к вечности, к смыслу жизни.

Пастернак — подросток.

«Я создан Богом мучить себя, родных и тех, которых мучить грех». Лишь однажды в стихах в авторской речи он обозначил свой возраст: «Мне четырнадцать лет». Раз и навсегда.

Как застенчив до ослепления он был среди чужих, в толпе, как, напряженно бычась, нагибал шею!..

Однажды он взял меня с собой в Театр Вахтангова на премьеру «Ромео и Джульетты» в его переводе. Я сидел рядом, справа от него. Мое левое плечо, щека, ухо как бы онемели от соседства, как от анестезии. Я глядел на сцену, но все равно видел его — светящийся профиль, челку. Иногда он проборматывал текст за актером. На сцене в поединке с Тибальдом блистал Ромео — Юрий Любимов.

Вдруг любимовская шпага ломается, и — о чудо! — конец ее, описав баснословную параболу, падает к ручке нашего с ним общего кресла. Я нагибаюсь, поднимаю. Пастернак смеется. Но вот уже аплодисменты и вне всяких каламбуров зал скандирует: «Автора! Автора!» Смущенного поэта тащат на сцену.

Работал он галерно. Два месяца в году он работал переводы, «барскую десятину», чтобы можно потом работать на себя. Переводил он по 150 строк в сутки, говоря, что иначе непродуктивно. Корил Цветаеву, которая если переводила, то всего строк по 20 в день.

Как бережен и целомудрен был он! Как-то он дал мне пачку новых стихов, где была «Осень» с тициановской золотой строфой — по чистоте, пронизанности чувством и изобразительности:

Ты так же сбрасываешь платье,
Как роща сбрасывает листья,
Когда ты падаешь в объятье
В халате с шелковой кистью.

(Первоначальный вариант:

Твое распахнутое платье,
Как рощей сброшенные листья...)

Утром он позвонил мне: «Может быть, вам показалось это чересчур откровенным? Зина говорит, что я не должен был давать вам его, говорит, что это слишком вольно...»

Помню встречу Нового года у него на Лаврушинском. Пастернак сиял среди гостей. Он был и елкой и ребенком одновременно.

Лампы задули, сдвинули стулья...
Масок и ряженных движется улей...
Реянье блузок, пенье дверей,
Рев карапузов, смех матерей...
И возникающий в форточной раме
Дух сквозняка, задувающий пламя...

Дней рождения своих он не признавал. Считал их датами траура. Запрещал поздравлять. Я исхитрился принести ему цветы накануне или днем позже — 9-го или 11-го, не нарушая буквы запрета. Хотел хоть чем-то утешить его.

Я приносил ему белые и алые цикламены, а иногда лиловые столбцы гиацинтов. Они дрожали, как резные — в крестиках — бокалы лилового хрусталя. В институте меня хватало на живой куст сирени в горшке. Как счастлив был, как сиял Патернак, раздев бумагу, увидев стройный куст в белых гроздьях. Он обожал сирень и прощал мне ежегодную хитрость.

Последние годы он много болел.

Я навещал его в Боткинской больнице. Принес почитать «Сагу о Форсайтах». Он добросовестно прочитал и пошутил, возвращая: «Пока читаешь его, можно было свою книгу написать...»

Он написал мне из Боткинской: «Я — в больнице. Слишком часто стали повторяться эти жестокие заболевания. Нынешнее совпало с Вашим вступлением в литературу, внезапным, стремительным, бурным. Я страшно рад, что до него дожил. Я всегда любил Вашу манеру видеть, думать, выражать себя. Но я не ждал, что ей удастся быть услышанной и признанной так скоро. Тем более я рад этой

неожиданности и Вашему торжеству... Так все это мне близко...»

Тогда же, в больнице, он подарил свое фото: «Андрюше Вознесенскому в дни моей болезни и его бешеных успехов, радость которых не мешала мне чувствовать мои мучения...»

Какой стыд охватил тогда меня за свое здоровое сердце, руки, ноги, лыжи, за свой возраст и ужас невозможности передать это другой самой дорогой для меня жизни!..

Художники уходят
без шапок, будто в храм,
в гудящие уголья
к березам и дубам.

Я знал его в течение четырнадцати лет.

Сколько раз слова его подымали и спасали меня, и какая горечь, боль всегда ощущается за этими словами.

СОДЕРЖАНИЕ

Деревья без номерков. <i>А. Вознесенский</i>	5
«Стихи не пишутся — случаются...»	8

А ТЫ МЕНЯ ПОМНИШЬ?

Романс	11
Сага	12
«Не придумано истинней мига...»	14
Осень в Сигулде	15
Сон	18
Пиета	19
Скульптор свечей	20
Женщина и стена	22
Ностальгия по настоящему	24
Сначала!	26
«Не возвращайтесь к бывшим возлюбленным...»	28
Монахиня моря	30
Водяные	32
Вдоль моря	34
Купание в росе	36
Замерли	38
Баллада-яблоня	39

«Можно и не быть поэтом...»	42
Повесть	44
Переделкинский ключ	45
Обучение винопитию	46
Автомат.	48
Баллада о МО	50
Платите женщине	53
Игровая	55
Фиалки	58
А ты меня помнишь?	60
Охота на зайца	61
Бьют женщину	65
Тишины!	67
Осень	69
«Сидишь беременная, бледная...»	71
Первый лед	72
«В человеческом организме...»	73
Автопортрет.	74
Не пишется	75
«Приди! Чтоб снова снег слепил...»	77
Художник и модель	78
Яблокопад	79
Роца	84
Васильки Шагала	86
Муравей	88
Н.У. — ресторан	90
Русско-американский романс	91

Звезда	92
Беловежская баллада	94
«Я — двоюродная жена...»	96
Правила поведения за столом	97
Баллада-диссертация	98
Масленица	100
Школьник	102
Кроны и корни	104
Книжный бум	106
Гитара	108
«Прими, Господь, поэта улиц...»	110
Пластинка	111
«Пусть наше дело давно труба...»	112
Храм	113
Бьет женщина	115
Морозный ипподром	117
Старая песня	120
Тоска	121
«Когда я придаю бумаге...»	122
Преображение	124
Свет друга	126
«Дорогие литсобратья!..»	128
Ода одежде	129
«Наш берег песчаный и плоский...»	130
Горный монастырь	131
Бой петухов	132

Время на ремонте	134
Шаланда желаний	138
Цикламена.	139
Вальс при свечах	140
«Мордеем, друг. Подруги молодеют...»	141
Обстановочка.	142
«Я — вселенский полудурок...»	145
«Живу в сторожке одинокой...»	146
«Еще немного дай побыть мне так...»	147
«Слоняюсь под Новосибирском...»	148
«Никто меня не провожал»	150
Сестра	151
«Спаси нас, Господи, от новых арестов...»	154
Гойя	155
Вечер в «Обществе слепых...»	156
Желтый дом	158
Хобби света	161
Рублевское шоссе	163
Две песни	164
Спасите черемуху	167
«Ну что тебе надо еще от меня?...»	169
Аренда	172
Переход	173
«Россия, нищая Россия...»	176
Грех уныния	177
«Как спасти страну от дьявола?...»	179
Из поэмы «Андрей Полисадов»	180

Россия без очередей	181
Мы — ямы	182
«Поглядишь, как несметно...»	184
В непогоду	185
Зевака	186
В Склифе	188
Оглянись вперед	190
«Не разлюбите без взаимности!..»	191
Зомби забвенья	193
Бомж	196
Искушение	198
Мальчик стекло	200
«Эх, Россия!..»	202
Кумир	203
«Нам, как аппендицит...»	205
Новорусская рулетка	208

НОТЫ МЕЛАНХОЛИИ

Рок	211
Беседа в Риме	212
Монолог Мерлин Монро	214
Антимиры	218
Ночной аэропорт в Нью-Йорке	220
Чувство	223
Щипок	224
Сирень	225
«Сыграй мне полонез Огинского!..»	226

Русская playmate	227
Другу	228
Е. W.	229
Рождественские пляжи	230
«Когда совсем уж плохо...»	232
«Пусть жизни пролито полчаша...»	233
Очисти снег	234
Озеро	236
Пловец	237
«Был бы я крестным ходом...»	238
Прощанье с микрофоном	239
Ответ на записку	242
«Ревет судилища орда...»	243
Монолог актера	244
Виртуальная клавиатура	246
Пожар в Архитектурном институте	249
Поют негры	251
Нью-Йоркские значки	253
Поп-певец	256
Фрагмент автопортрета	258
Люмпен-интеллигенция	260
Прощание с Политехническим	262
«Нас много. Нас может быть четверо...»	265
«Сладким ротиком от халвы...»	267
Деревянный зал	268
Зал Чайковского	271
Пара-шут	272

Пир	274
«Фиалки — твои филиалы...»	276
Мусатовская сирень	277
Секс-контры	279
«Люб мне Маяковский-Командор...»	281
«Сон...»	282
Я — money	283
Хор нимф	284
«Тихо-тихо. Слышно точно...»	285
«С тобой богатыми мы были!..»	285
Не забудь	286
Шло убийство	288
Эфирные стансы.	290
Ласточки.	293
Голубой зал Кремля	295

БЕЗ РИФМ

Вольноотпущенник времени	301
Париж без рифм.	302
Старый город.	307
«Тьма ежей любого роста...»	308
Черные простыни	309
Портрет Плисецкой.	311
Б. Пастернак	319
Исповедь «сырихи»	320
Неба бы...	323
«Читаю небо, став душою зорче...»	325
Скрытымным	326

Сон	328
Баллада	330
Апельсины, апельсины...	331
Русская песня	336

ЧИТАЯ НА МОЩАХ

«Октябрьский»	339
Реквием оптимистический	341
Похороны Гоголя Николая Васильевича	344
«Есть русская интеллигенция...»	348
«Пострашнее мышеловок...»	351
Помилуй, Господи...	352
Легенда.	354
Ров.	356
«Жаль, что проходит на «ура»...».	358
«Ну почему он столько раз про ос...»	359
Молитва	360
«Не отрекусь...».	362
Выпусти птицу!	364
Заповедь	366
Русские поэты	368
Лесной регтайм	369
Мать.	370
«Единственно живой среди неживых...».	372
«Кончину чую. Но не знаю часа...»	373
Масличная ветвь	374
Аве, Оза....	377
Мне четырнадцать лет	402

Литературно-художественное издание

Вознесенский Андрей Андреевич
СТРАДИВАРИ СОСТРАДАНИЯ

Редактор *И. Топоркова*
Художественный редактор *А. Новиков*
Технические редакторы
В. Бардышева, Г. Павлова
Корректор *И. Голубева*

Изд. лиц. № 065377 от 22.08.97

Налоговая льгота — общероссийский классификатор
продукции ОК-005-93, том 2; 953000 — книги, брошюры.

Подписано в печать с готовых диапозитивов 01.06.99.

Формат 70×100 ¹/₃₂. Гарнитура «Петербург».

Печать офсетная. Усл. печ. л. 16,9.

Уч.-изд. л. 8,1 + 1,4 вкл.

Тираж 7 000 экз. Зак. № 496.

ЗАО «Издательство «ЭКСМО-Пресс»,
123298, Москва, ул. Народного Ополчения, 38.

Изготовлено в Тульской типографии.
300600, г. Тула, пр. Ленина, 109.

ISBN 5-04-002882-2



9 785040 028825 >

